



ЮРИИ НАГИБИН

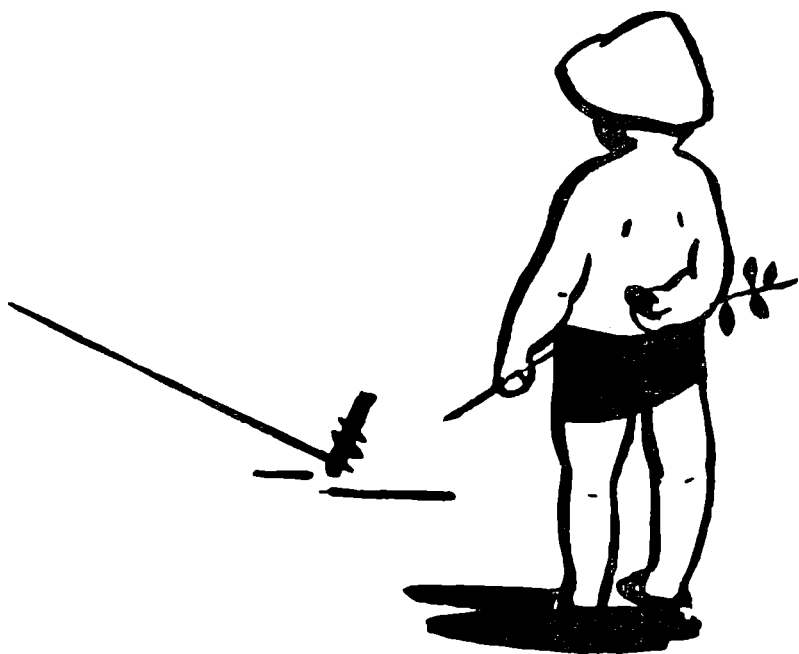
РАССКАЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957



Юрий Нагибин

РАССКАЗЫ





КОМАРОВ

Когда облака наплывали на солнце, вода в заливе из голубовато-белесой становилась сизой с тусклым свинцовым отсветом. Большой, гладко вылизанный волнами камень, торчавший метрах в пяти от берега, тоже темнел, и от него ложилась на воду бархатистая черная тень. Колблемая волной, тень то укорачивалась, то удлинялась, и мне стало казаться, будто у камня плещется черный тюлененок.

— Комаров, перестань! Слышишь, что тебе говорят, Комаров!

Уже не в первый раз звучал за моей спиной этот скрипучий женский голос. И всякий раз он призывал к порядку какого-то Комарова. «Беспокойный мужчина, — подумал я о Комарове. — Чего он там колобродит?» Но

повернуться лень, а к тому же посмерклось, и у большого камня вновь заиграл черный тюлененок. Видение обрело странную устойчивость: чем дольше я смотрел, тем труднее было представить, что это всего лишь клочок тьмы.

— Комаров, в последний раз говорю, оставь Рыжика в покое! — вновь проскрипело за моей спиной. — Встань, Комаров!

— А я ничего не делаю! — послышался сиповатый, недовольный голос.

Я оглянулся и уперся взглядом в пуп, похожий на отпечаток гривенника в песке. Неподалеку от меня стоял четырехлетний человек, совершенно голый, если не считать высокой белой панамы, лихо нахлобученной на одно ухо. Из-под панамы серьезно и чуть удивленно глядели два круглых бутылочного цвета глаза. Рожица у Комарова курносая, веснушчатая и самая продувная. Над Комаровым склонилась рослая, грузная женщина в зеленом шелковом платье. При малейшем ее движении жесткий шелк рассыпал сухой треск электрических разрядов. Позади воспитательницы, подставив солнцу спины с острыми уголками лопаток, лежали двадцать — двадцать пять сверстников Комарова.

— Ты зачем закладывал ногу на Рыжика! — негодуя воскликнула воспитательница, и в лад ее скрипучему голосу рассыпались трескучие искры шелка.

— А чего он лежит, как мертвый! — отозвался Комаров.

— Зачем ты кидал песок в глаза товарищам?

— Кто кидал? Я его сеял... Это ветер.

Мудрая обоснованность ответов Комарова явно ставила в тупик воспитательницу.

— Тяжелый мальчик! — вздохнула она.

— Я не тяжелый, — возразил Комаров и похлопал себя по животу. — Я после обеда тяжелый.

Подошла молодая женщина в белом халате с повязкой медсестры на рукаве и молча показала на часы.

— Подъем! Подъем! — закричала воспитательница и, как клуша крыльями, замахала короткими полными руками, родив настоящую электрическую бурю. — Одеваться и строиться!

В воздухе послушно замелькали кусочки ситца — короткие ребячьи трусики, посыпался песок из сандалий,

и вот уже первые пары чинно подравниваются в затылок, и только Комаров, голый и сумрачный, не притронулся к одежде.

— А купаться кто будет? — хмуро бормотнул он как бы про себя.

— Во всяком случае не ты! — съязвила воспитательница, но, видимо, зная, что от Комарова так просто не отделаться, сочла нужным добавить: — Врач запретил купаться: вода слишком холодная.

— Дети могут простудиться? — серьезно спросил Комаров.

— Хватит разговоров, одевайся!

Комаров с ожесточением схватил трусики, но почему-то не надел их сразу, а сперва занял место в строю и лишь тогда, сделав из штанины кольцо, сунул в него ногу.

— Пошли!

Воспитательница хлопнула в ладоши, строй колыхнулся, двинулся и тут же пришел в замешательство. Писк, гам, волнение. Что случилось? Комаров споткнулся, повалил идущего впереди мальчика, тот, в свою очередь, опрокинул следующего. Воспитательница навела порядок. Новая команда — и новая ссалка.

→ Что с вами, дети?

— Комаров падает...

— Комаров, выйди из строя!

Комаров добросовестно пытается выполнить приказание, делает странный, укороченный шаг и падает в песок.

— Что с тобой, Комаров?

— Плохо мое дело, — сказал Комаров, поднялся, шагнул и вновь упал.

— Что это с ним? — В голосе воспитательницы отчаяние. — Неужели солнечный удар?

Товарищи Комарова очень довольны, они весело смеются, затем один из них говорит:

— Нина Павловна, он обе ноги в одну штанину сунул.

У воспитательницы, верно, никогда не было собственных детей. Она обескураженно смотрит на Комарова, точно не зная, как помочь беде, затем нагибается и немело выпрастывает ногу Комарова из штанины.

— Зачем ты это сделал? — говорит она, распрямляясь.

— Так интересней, — спокойно и благожелательно

поясняет Комаров и, вдруг осененный новой идеей, спрашивает: — Нина Павловна, а что такое человек?

— Не знаю, — раздраженно отмахнулась воспитательница, и я подумал, что она сказала правду.

Группа тронулась дальше и вскоре скрылась в прибрежном сосняке.

А через несколько дней я снова встретился с Комаровым. Я возвращался с моря по крутой песчаной улице. Вдоль правой ее стороны тянулась изгородь, дальше круто вверх забирал густой сосняк; по левую же сторону раскинулись пустыри войны, не обжитые до сих пор; они густо поросли папоротником и какими-то непривычного вида хвощами, едко пахнувшими скипидаром.

И вот когда я поровнялся со штакетником, одна из планок его вдруг сдвинулась в сторону, в широкой щели показалась маленькая, иссеченная белыми травяными порезами нога в сандалии, затем панамка, похожая на поварской колпак, загорелая, испачканная рука и, наконец, вся фигура моего пляжного знакомца. Он вылез, осмотрелся кругом, — я почувствовал на себе его настороженный взгляд и сделал вид, что он меня несколько не занимает. Тогда он аккуратно поставил планку на прежнее место и залился долгим, торжествующим смехом. Не было никаких сомнений: Комаров совершил побег.

Каюсь, я не взял Комарова за руку и не отвел его к воспитательнице. Улица была помечена знаками, запрещающими проезд, и Комарову ничто не грозило, к тому же и я был рядом. Правда, воспитательница переживает несколько неприятных минут, но... поделом ей.

Мне приходилось несколько раз в день проходить мимо этого детского сада, и я убедился, что здешняя воспитательница явно не в ладах с природой. Она не доверяла молодым колючим сосенкам, кустарнику, уютившему густую тень, дальним уголкам сада, заросшим дикой малиной и ежевикой. Из всей обширной территории сада она оставила своим питомцам лишь гладкий пятачок крокетной площадки. И стоило кому-нибудь из ребят в погоне за жуком или просто в порыве любознательности нарушить запретную зону, как испуганный окрик немедленно настигал беглеца.

Конечно, так ей было куда удобнее блюсти своих питомцев, но мне казалось, что она слишком упрощает

себе задачу. «Пусть Комаров погуляет на воле, — решил я и предоставил ему свободу. — Что-то он станет делать?»»

Внизу, по приморскому шоссе, звонко сигналив на поворотах, пронеслись легковые машины, грузовики, тяжело осевшие автобусы, отчаянно тарахтели мотоциклы, но Комарова, городского ребенка, не привлекали знакомые городские шумы. Не обратил он никакого внимания и на спускающихся с горы велосипедистов, которые, держась рукой за седло, бежали вдогонку за своими позванивающими на неровностях дороги велосипедами...

Комарова привлекал девственный мир, и он заковылял на бугор. Неожиданности подстерегали его здесь на каждом шагу. Вот он наступил на какую-то дощечку, и из-под нее с упругим шелком выскочила зеленая сосновая шишка. Пролетев метра полтора, шишка приземлилась на краю дорожки, под кустом таволги, чуть поворочалась и улеглась спокойно. Это была цельная, крепенькая молодая шишка, верно еще никогда не виденная Комаровым, потому что такие шишки прочно держатся на ветках, а по цвету неотличимы от хвои. К тому же она прыгала! Легким, крадущимся шагом Комаров приблизился к шишке и прихлопнул ее ладонью. Попалась! Он ощупал пальцами твердое ребристое тело шишки, но это не открыло ему тайны маленького зеленого кругляша.

— Ты разве умеешь прыгать? — спросил Комаров.

Не получив ответа, он решил испытать шишку: он положил ее на землю и отвернулся. Нет, шишка спокойно лежит на том же месте, она не делает ни малейшей попытки к бегству. Тогда Комаров зажал шишку в кулаке и в тот же миг увидел еще две такие же шишки под кустом таволги. Он хотел достать их и вдруг с болезненным криком отдернул руку: он острекался о крапиву, впутавшую свои колючие листья в ветку таволги. Комаров потерял руку, полизал ее языком и вновь потянулся за шишками, внимательно следя за тем, откуда придет боль. Вот он коснулся цветка, отодвинул мягкий, морщинистый лист, и тут неприметный колючий страж опять вонзил ему в руку свои шипы...

Но на этот раз Комаров только поморщился. Он подполз под куст, осторожно отделил стебель крапивы и смелым движением вырвал его из земли. Колючки разом

смялись под сильной хваткой и уже не смогли впиться в кожу. Это было настоящее открытие, и теперь Комаров легко овладел шишками. Но все три не поместились у него в кулаке, и он схоронил одну шишку под лопухом. Размахивая крапивой, он побрел вверх по улице.

Ноги его разъезжались в песке, к тому же путь ему преграждали большие округлые валуны, торчащие из земли. Комарову пришлось огибать каждый валун. Когда же он попытался пройти по гладкой поверхности камня, то немедленно поскользнулся. Комаров никому не давал спуска: он остановился и основательно высек камень крапивой. Не успел он закончить экзекуцию, как где-то наверху с отчаянным разливом промычал теленок. Комаров замер, затем, помогая себе руками, изо всех сил устремился вперед.

Примерно на половине подъема находился широкий уступ, справа он вдавался в сосняк, образуя небольшую поляну. Там пасся теленок, привязанный к осиновому пеньку. И вот посреди полянки встретились двое ребят: сын человеческий и рыжий младенец бычок.

Хотя Комарову было столько же лет, сколько теленку месяцев, они могли считаться ровесниками. Но теленок знал, кто такой Комаров, а Комаров не знал, кто такой теленок. Бычок смотрел на мальчика кротко и равнодушно; Комаров смотрел на бычка с изумлением, готовым перейти в пылкую любовь.

— Ты кто такой? — спросил Комаров.

Теленок молчал, шевеля мягкими губами и перекатывая во рту жвачку. Тогда Комаров ответил сам себе:

— Ты большая собака.

Он протянул руку, чтобы погладить «большую собаку», но теленку не хотелось, чтоб его гладили, а быть может, его испугал стебель крапивы в руке Комарова, напомнивший ему хворостину, какой хозяйка загоняла его во двор. Он попятился, натянул веревку, затем скакнул в сторону.

— Чего ты? — укоризненно сказал Комаров и шагнул к теленку. Но тому надоело отступать, он опустил лобастую голову с мокрым от вечерней росы завитком и двумя шерстистыми вздутиями на месте будущих рогов, вытянул шею и с угрожающим видом двинулся на Комарова.

Лицо мальчика страдальчески скривилось, он совсем не хотел ссориться. Но было что-то в характере этого человека, что не позволяло ему отступить перед опасностью. Он тоже выставил вперед голову с двумя светлыми буграми на чистом высоком лбу, зажмурил глаза и, прежде нежели я успел вмешаться, кинулся на теленка лоб в лоб. Теленок не принял боя. Валко оступившись на своих прямых шатких ножках, он повернулся и кинулся прочь. Комаров с победным криком припустился вдогонку.

Веревка позволяла теленку бежать по кругу, он бежал куда резвее Комарова и потому на втором круге увидел вдруг прямо перед собой спину своего преследователя. Комаров был в этот миг беззащитен, но теленок, вместо того чтоб использовать свое преимущество, окончательно пал духом и отказался бороться с противником, который мог одновременно преследовать его и сзади и спереди. Он понуро остановился, вздохнул глубоко и печально, как умеют вздыхать лишь взрослые быки, и, прилепнув губой длинную былинку, стал ждать решения своей участи.

Комарову пришлось проскакать целый круг, прежде чем он обнаружил, что враг приведен в покорность. Тогда он смело приблизился к теленку, похлопал его ладошкой по взмокшему боку, погладил его твердый, как камень, лоб, глаза под жесткими, вздрагивающими ресничками, мягкий, резиновый нос.

Теленок терпел все нежности победителя и только вздыхал.

— Что, боишься? — спросил Комаров, но этим ограничилась его месть, он даже добавил в утешение и поучение теленку: — Я тебя тоже боялся, а теперь не боюсь. — Он хитро прищурился. — А ты не большая собачка. Не-ет! Ты маленькая коровка.

— Му-у! — печально отозвался теленок, заверяя Комарова, что он никогда больше не будет притворяться строптивым.

— До свиданья, — сказал Комаров.

Он снова вышел на дорогу и вдруг замер, чуть шатнувшись назад, будто наскочил на невидимую преграду. Я сразу понял, что поразило Комарова; он ненароком оказался лицом к подножию склона, где в бесконечной глубине бесшумно и грозно пенился прибой.

Зеленый коридор улицы острой стрелой летел в море. Сладкое щемящее чувство высоты, пространства и полета пронзило мальчика. Он замахал руками, запрыгал, потом стал выкрикивать какие-то непонятные, как в детской считалке, слова, наконец запел без слов и мелодии...

И вдруг песня смолкла: Комаров, словно бессильный вместить всю мощь впечатлений, повернулся и быстро заковылял прочь...

Лягушка, перескочившая ему дорогу, вернула Комарова к милой земной привычности. Он побежал за лягушкой и догнал ее у самой обочины. Когда тень мальчика накрыла лягушку, она замерла, выгнув спинку. Комаров схватил ее и, повернув на спинку, стал рассматривать бледное брюшко. Он рассматривал долго, тыкал пальцем в упругую пленку. Верно, он искал комочек вара и стальной рычажок, с помощью которого скачет игрушечная лягушка. Но у этой живот был совсем гладкий, и Комаров задумался. Панама сползла ему на нос, но он не замечал этого, поглощенный новой загадкой жизни. Он чуть сжимал и разжимал ладонь и как будто к чему-то прислушивался. Лягушка не двигалась, ее длинные сухие ножки торчали из кулака мальчика двумя хворостинками, но, верно, все же его руке сообщился трепет жизни маленького тела.

— Живая! — засмеялся он и затем предложил с лукаво-восторженным выражением: — Давай водиться, а? Я тебя выпущу потом...

Лягушка не возражала и осталась в кулаке Комарова.

Теперь Комаров взглядом опытного следопыта обозрел окрестный мир. На высоком песчаном срезе обнажились корни сосен; тонкие корневые волоски шевелились на ветру, извивались, пуская струйки песка, и, конечно же, Комарову потребовалось выяснить, живые они или только притворяются, играют в одушевленную, самостоятельную жизнь. Вот он уже шагнул к песчаному срезу, но ему не суждено было провести это последнее исследование.

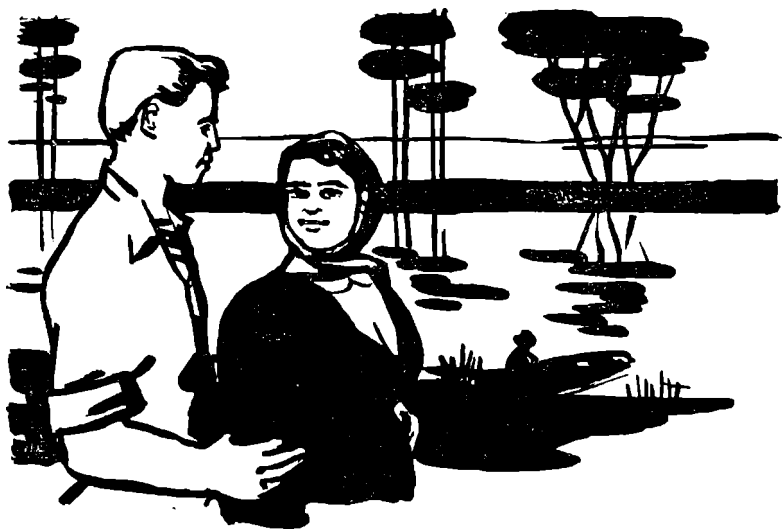
Со всех сторон, замыкая беглеца в железный круг, двигалась облава. Ведомые воспитательницей, шли ее младшие помощницы, нянечки, судомойки в белых фар-

туках, медсестра с красным крестом на рукаве и старик сторож в валенках.

— Вот он! — слышался крик, и с этим криком кончилась свобода Комарова.

Комаров не понимал, чего шумят все эти люди, чего так жалобно причитают. Он ощущал себя сильным и богатым, он хотел, чтобы всем было хорошо. И когда воспитательница приблизилась к нему, он широким, великодушным движением протянул ей всю свою добычу: стебель крапивы, две зеленые шишки и живую лягушку.





МОЛОДОЖЕН

О том, что отыскать егеря в Полсвятъе дело сложное, Воронов узнал от старухи, перевозившей его через Пру. Старуха была высокая, стройная, с крепкими ногами в коротких кирзовых сапогах; защитного цвета ватник обтягивал ее широкие, круглые плечи, голова, несмотря на летнее время, была покрыта теплой армейской шапкой, скрывавшей седину, и когда, заводя шест, она отворачивала от Воронова маленькое морщинистое лицо, на нее приятно было смотреть. Время пощадило ее стать, но обезобразило руки — сухие, крючковатые, пятнистые, а на стянутом морщинами лице сохранило темные, блестящие глаза с голубоватыми белками. Поигрывая своими живыми, непогашенными глазами, старуха словоохотливо объясняла:

— Запоздал ты маленько. У нас за два дня до сезона егеря уж не сыскать, а в разгар охоты — куда там!.. Раньше, верно, попроще было. А сейчас кто вообще это дело забросил, потому колхоз выгоден стал, — ну хоть мой меньшой Васька, — кто к государству на службу пошел. Лучшие-то егеря сейчас на охране озера работают. Возьми хоть Анатолия Ивановича, моего старшого. Да вам в Москве об том навряд известно... — Легкий оттенок презрения, прозвучавший в ее последних словах, относился не к малой славе ее сына, не дошедшей до столицы, а к неосведомленности Воронова.

— Нет, почему же. — возразил Воронов, — я не раз слышал об Анатолии Иваныче как о самом надежном человеке по части охоты.

— Плохо же у вас в Москве насчет Мешеры сведомы! — осудительно сказала старуха. — Неужто нет у Анатолия Ивановича другого дела, как столичных гостей возить? Он край наш охраняет!

— Так что же вы мне посоветуете? — спросил Воронов.

Воронов любил охоту, он обладал выдержкой, метким глазом, твердой рукой, но он не был настоящим охотником, к тому же в Мешеру он попал впервые.

— Посоветовать тебе я ничего не могу. — ответила старуха, ловко поправляя верткий челнок наискось волны. — Одно скажу: попробуй кого из стариков подбить, они от работы свободные, да и любят это дело. Только навряд кого сыщешь. — Челнок прощурился по дну и резко стал. До берега оставалось метра три-четыре. Подобрав подол в шаг, старуха перекинула через борт сперва одну ногу, потом другую, привалилась грудью к ксрме и вытолкнула челнок на отмель.

Прочная недвижность берега шатнула Воронова. Он достал десятку и протянул старухе.

— Держи сдачу. — сказала она и в ответ на протестующий жест добавила: — У нас такой устав. Перевоз пятерка, ночлег — трешка, егерю четвертной в сутки... Слышь-ка, попробуй вон в ту избу стукнуться. Спроси Делка, может уговоришь...

Воронов поблагодарил и двинулся кочкастым берегом к указанному дому.

Ему открыла старуха, до странности похожая на его перевозчицу. Молодая фигура и маленькое сморщенное

личико с темными, живыми бусинами глаз. И одета она была так же: защитного цвета ватник, кирзовые сапоги, ушанка с угольчатым следком от звездочки. «Похоже, здешние старухи еще ведут какую-то свою войну», — с улыбкой подумал Воронов.

— Нет, милый, Дедок не пойдет, занемог, — сказала она. — Вчерась с Великого без ног приполз.

Все-таки она пропустила Воронова в избу, где на постели с высокими подушками, под ворохом шуб, лежал заболевший хозяин. Самого Дедка видно не было, торчал лишь седой, в желтизну, обкуренный клинышек бороды.

— А если я хорошо заплачу? — сказал Воронов.

— Слышишь? А, мать? — донесся из глубины постели слабый голос, и седой клинышек задрожал.

— Нишкни! — прикрикнула жена. — Паром изо рта дышит, а туда же! Видите, без пользы мы вам, дорогой товарищ, — строго сказала она Воронову.

— Так где же мне найти егеря? — настойчиво спросил Воронов.

— Где ж найдешь, коли их нету. Нету, и все тут! — сердито сказала хозяйка.

Случись подобный разговор несколько лет назад, на том бы и кончилась, не начавшись, мещерская охота Воронова. Раньше он был склонен преувеличивать противоборствующие силы жизни, каждое, даже незначительное, препятствие казалось ему неодолимым. Но с годами выработалась в нем счастливая уверенность, что в жизни нет неразрешимых положений, что спокойная и трезвая настойчивость способна смести любое препятствие. Голос его прозвучал почти весело, когда он спросил:

— Так где же все-таки мне найти егеря?

Старуха испуганно вскинула редкие ресницы.

— Да где же его, милый, найдешь, — проговорила она, но уже не сердито, а растерянно.

— Вот я и спрашиваю вас, — сказал Воронов.

Старуха повела глазами вправо-влево, будто егеря и в самом деле мог скрываться где-то поблизости, о чем доподлинно известно этому московскому человеку.

— Уж не знаю, чего тебе и сказать... Может, Молодожена уговоришь?

— Так тебе Молодожен и пойдет! — послышалось из-под вороха шуб.

— Пойдет, — ответил за старуху Воронов. — Где он обретается?

— Крайняя изба по леву руку от нас, — пояснила старуха. — Ступай к нему, милый, может, убедишь. А только он, как оженился, егерское дело бросил.

— Не пойдет, — снова слышалось из-под шубы. — От жены не пойдет!

— Как его зовут, Молодожена-то? — спросил Воронов.

— Да Васька, — ответила старуха. — Как его еще звать?

— Не пойдет, — донеслось до Воронова уже в сенях. Он решил, что стойкость Молодожена перед соблазном легкого егерского заработка принадлежит к числу мещерских достопримечательностей, которыми гордятся местные люди.

Воронов забыл спросить, по какую сторону улицы стоит Васькина изба. Из двух крайних изб он выбрал ту, которая выглядела почище и была украшена железным пестухом на коньке крыши с резными ставнями в свежей побелке. Молодоженам пристало жить в этом опрятном, с некоторым притязанием на нарядность жилище. Толкнув дверь, Воронов вошел в большие, сумрачные сени, пахнувшие теленком, подпревшей соломенной подстилкой и куриным пометом. Этот обычный дух сеней припахивал горьковато и волнующе чуть тронувшимся утиным мяском. Посреди сеней на веревочной захлестке висела порядочная связка крякв и чирков с пучками травы в гузках. «Значит, он не вовсе бросил охоту», — отметил про себя Воронов. Кудрявый широкоплечий парень в галфе и белой сорочке с закатанными рукавами, поднявшись с колен — он обтесывал колуном какое-то полешко, — спросил Воронова, кого ему надо.

— Вас и надо, — ответил Воронов.

Парень вонзил колун в полено и первый прошел в избу. Воронов последовал за ним. В дверях он посторонился, пропустив мимо себя маленькую женщину с полной бадейкой в руках. Жилище молодоженов было внутри таким же приветливым, как и снаружи. Насвежо побеленная печь, пестренькие обои, подоконники заставлены горшками с геранью, на стенах множество картинок из «Огонька». В углу буфет, прикрытый кружевной скатерткой, на нем стаканчик из дешевого цветного стекла, две большие, тяжелые раковины, из тех, в которых

«шумит море», поставец с фотографиями, посреди, как водится, карточка молодых.

На лавке около двери сидела старуха в ватнике и кирзовых сапогах, видимо обязательная для мешчерских домов, — решил Воронов. Но тут он узнал в старухе свою перевозчицу и сообразил, что она была матерью молодожена Васьки. На другой лавке, у окна, сидела молодая женщина в спущенном на плечи платке. Ее большая, крепкая грудь туго и тяжело натянула ситец кофточки.

— А я, собственно, по вашу душу, — обратился к ней Воронов, — отпустите со мной хозяина?

Женщина удивленно повела глазами на Воронова и опустила взгляд. Глаза у нее были красивые с выпуклыми голубыми белками.

— У нее еще нет хозяина! — с мягкой усмешкой заметил Васька. — Это сестренка моя.

Воронов досадливо закусил губу; он должен был догадаться, что это не хозяйка. Она сидела церемонно, как сидят деревенские гости, а кроме того, разительно была похожа на брата: те же вьющиеся каштановые волосы, смуглый румянец лица, те же влажные, с поволокой, с голубыми белками, глаза.

— Ну, а вы что скажете о моем предложении? — спросил он Ваську.

— Незачем ему идти!.. Баловство одно! — это сказала маленькая женщина, встретившаяся Воронову в дверях. Она стояла на пороге, много не доставая головой до низкой притолоки и прижимая к бедру опорожненную бадейку. Воронов с разочарованием отметил невидность молодой жены красивого Васьки. Ростом невеличка, она не взяла и лицом: маленькое, усиженное веснушками, с бутылочного цвета глазами. К тому же молодая не была особенно молода, ей было за двадцать пять, а то и больше. На ней было старенькое, узкое и короткое платьице, на ногах стоптанные чувяки. Но характер в ней чувствовался, и Воронова не удивило, что в ответ на резкое замечание жены Васька лишь молча улыбнулся и развел руками.

— Бабушка, хоть бы вы меня поддержали, по старому знакомству, — повернулся Воронов к старухе.

— Я тут не хозяйка, — ответила Васькина мать. Это прозвучало без обиды и вызова, простое утверждение всем известного и справедливого факта.

Теперь Воронов знал, что ему делать.

— Можно вас на два слова, — обратился он к Васькиной жене.

Они вышли в сени. Воронов неторопливо и обстоятельно объяснил маленькой женщине, что заберет ее мужа всего на три-четыре дня, что мешерские порядки ему известны и заплатит он ровно вдвое против обычного, потому что человек он занятой и слишком редко позволяет себе охоту, чтобы скупиться. Наконец, в отличие от других московских охотников, он не запрещает и самому Ваське стрелять...

Маленькая женщина слушала его, шевеля губами. Видимо, она подсчитывала про себя, сколько это им принесет. Подсчет ее удовлетворил: она улыбнулась, блеснув своими бутылочными глазами, и задорным, не лишненным изящества движением протянула Воронову руку.

— Договорились!

В отпахнувшемся рукаве мелькнуло ее круглое, хорошей формы пястье и округлый локоть, и Воронов, которого удача настроила снисходительно, отметил: в ней что-то есть.

— Василий, собирайся! — крикнула она решительным голосом. — Пойдешь с товарищем на охоту.

Мягкие, девичьи губы Васьки поползли.

— Надо бы спроситься у председательши...

— Я сама ей скажу. Она и то наемни говорила: чего это все мужики отпрашиваются, один твой, как привязанный. Да и надо мне убраться, полы вымыть, грязь тут от тебя!..

Васька поглядел на жену, вздохнул, затем, что-то пересилив в себе, стал собираться.

Сборы егеря были недолгими. Подложив в резиновые сапоги сенца, он намотал теплые байковые портянки и туго натянул сапоги на свои крепкие ноги; набил кошелек патронташ старыми потемневшими патронами и опоясался им, затем увязал в заплечный мешок резиновые и деревянные чучела. Воронову нравилось следить за его широкими, небрежными и вместе с тем очень точными движениями. При этом Васька что-то насвистывал сквозь зубы, видимо сам несколько не ощущая своей живописной ладности.

— Рад, что из дому вырвался! — ревниво заметила жена, стирившая за печью.

— Хочешь, не пойду? — с готовностью откликнулся Васька.

— Не пойду! Богач какой выискался!

Воронов опорожнил свой рюкзак, оставив лишь самое необходимое: хлеб, масло, консервы, термос с крепким чаем, запасные носки и одеяло. Василий принес со двора плетеную корзинку, в которой побрякивала подсадная.

Жена Василия пошла их проводить. Она надела плюшевый, сшитый в талию, жакетик, высокие резиновые боты и сразу помолодела.

— Дай-кошь, — сказала она мужу и забрала у него ружье. — Вы на Великом поедете?

— На Озерко, — ответил Васька.

Она удивленно сгруппировала брови, и Воронову почудилось в этом что-то неладное. Он еще в Москве слышал: охотиться надо на Великом, и сейчас у него мелькнуло подозрение, что Ваське просто не хочется далеко отрываться от дома.

— Может, на Великом вернее? — сказал он.

— На Великом народищу тьма, — глядя не на Воронова, а на жену, ответил Васька.

Воронов тоже посмотрел на жену Васьки, рассчитывая на ее поддержку. Но та пожала худенькими плечами и быстро прошла вперед к видневшемуся за осокой челноку. Верно, ее главенство в доме не посягало на авторитет мужа в делах охоты.

Василий тронул Воронова локтем и, улыбаясь, кивнул на жену: длинная «тулка» колотила ее прикладом по пяткам.

— Только меня да брата Анатолия жены на охоту провожают, — сообщил он с легкой гордостью и раздумчиво добавил: — И то сказать, ему по инвалидности иначе не управиться...

Когда они подошли к протоке, челнок был уже отвязан и выслан свежим, сыроватым сеном, которое жена Василия набрала прямо с берега. Василий уложил рюкзак, плетушку и ружья, заботливо прикрыв их своей брезентовой курткой; достал из-под соломы похожее на лопату весло.

— Залазьте, товарищ охотник, не знаем вашего имени-отчества!

— Сергей Иванович, — Воронов неуклюже опустился

на дно челнока; из-за округленного борта плеснула черная, как деготь, болотная вода.

— Бывай здорова! — сказал Васька жене.

Хмуρο глядя на Воронова, она быстрым, коротким движением притянула мужа за рукав, на миг прижалась к нему боком, смущенно усмехнулась, отпихнула и, не оборачиваясь, зашагала к дому по высокой, выше пояса, траве.

Васька уперся веслом в берег, дакнул, и челнок побежал по узкому водному коридору, мягко стучаясь о выступы земли, с сухим шуршанием раздвигая острую, лезвистую осоку, нависшую над каналцем.

Воронов расстегнул воротник рубашки. Все хлопоты и тревожения остались позади, он стрелой несся к цели. В Москве ему столько наговорили о мещерских трудностях, о своеобразности ее людей, которых надо понять, чтобы они повернулись своей мягкой и податливой стороной, ибо в другом повороте они могут быть непреклонными и жестко непримчивыми. И как легко пашелся он в этой обстановке, добился всего, что хотел!

Ему приятно было следить, как ловко и сильно орудует Васька веслом. Чуть заленившееся крепкое тело парня, видно, испытывало радость от этой разминки. Чувствовалось, как играют под рубашкой его налитые мускулы, как хорошо и легко ему дышится.

Вскоре протока пошла зигзагами, и если у Воронова еще оставалось легкое подозрение, что Васька избрал Озерко ради легкого пути, то сейчас оно исчезло без следа. Длинный челнок не мог повернуться на крутых излучинах. Перед очередным поворотом Васька изо всех сил отталкивался веслом, заменявшим ему шест, и челнок с разгона влетал на отмель. Васька спрыгивал в воду, подымал корму и заводил ее в другое колено поворота, после чего спихивал в воду нос. Челнок был очень тяжел, но когда Воронов хотел помочь Ваське, тот не позволил.

— Жена велела для вас стараться. Смотри, говорит, коли гость недоволен будет, домой не пушу!..

Все же, перед самым выходом в Пру, где узкая протока разливалась вольной и мелкой водой по заболоченному берегу, челнок так прочно сел на мель, что Воронову пришлось выйти и приложить свою силу.

— Да я б и один справился, — смущенно говорил Васька, помогая Воронову забраться в челнок.

— Ничего, ничего, я не скажу жене, — с улыбкой за-верил его Воронов.

Васька засмеялся, а Воронов спросил:

— Любишь?

— Ну как же не любить? — сказал Васька радостно и удивленно. — Вы же видели, какая она!.. Кто я перед ней есть? — и он развел руками.

Он стоял по колено в воде, в тельняшке с засученными рукавами, молодой; горячий пот тек по его смуглому лицу, загорелой в черноту шее и мускулистым рукам; кожа казалась налакированной. Васька был так хорош собой, так чист и наивен в своем чувстве, что Воронову подумалось: «Эх, парень, ты куда большего стоишь!» Он, конечно, не сказал этого, и они двинулись вдоль лесистого берега Пры.

Здесь Пра совсем не походила на реку. Она разливалась широченным озером с поросшими тростником заводьями, где чернели челноки рыболовов, с плоскими зелеными островками. Чайки носились над водой, в вышине тянули утки, стайками и в одиночку. Коршун, паривший под самым облаком, стремительно и плавно спикировал на воду и, коснувшись ее крючковатыми лапами, взмыл с плотичкой в когтях. И тут же с маковки сосны сорвалась в погоню за ним ворона. Она быстро догнала коршуна и вырвала у него добычу. Вернувшись на свой сторожевой пост, ворона быстро склевала плотичку и стала ждать, когда трудяга коршун выловит для нее другую...

Они вновь свернули в протоку, в отличие от первой прямую, как стрела. Порой узкий коридор расширялся вода разливалась пятаками, — протока шла от одного болотного озерца к другому. Берега и здесь были низкими, но высокая, выше человеческого роста, осочная поросль, подступавшая, вперемежку с кустарником, к самой воде, заключала протоку в сумрачный, темно-зеленый тоннель. Казалось, будто разом посмеркло, и Воронов забеспокоился: как бы им не опоздать к вечерней зорьке.

— Будем в самый раз, — уверенно сказал Васька.

Порой над самой их головой бесстрашно проносились бекасы, куличок выпорхнул из травы, а из-под черного плоского листа кувшинки выскочил и припустил от них во все лопатки крошечный, чуть больше птенца, хлопучий

нец. Несчастный малыш, не ведая о том, что ему, слишком поздно вылупившемуся из яйца, не суждено стать взрослой уткой, изо всех сил спасал свою короткую жизнь. Стрекоца по воде жалкими закорючками неразвитых крылышек, он с писком улепetyвал по протоке, то и дело настигаемый носом челнока, и, наконец, юркнул в береговую заросль. Едва он скрылся, как из заросли что-то с шумом выпорхнуло, на миг в светлом окне между кустами возник черный рваный силуэт кряквы, и тут же розовый отсвет выстрела оплеснул лицо Воронова. Раньше чем замерло эхо, утка, описав дугу, упала в кусты.

Воронов был потрясен не столько неожиданным выстрелом, прогремевшим над самым его ухом, сколько сверхъестественной быстротой и ловкостью Васьки, успешного бросить весло, схватить ружье и вскинуть с такой необыкновенной точностью. Почему-то Воронову подумалось, что и сейчас Васька расстарался в честь своей жены, и он почувствовал раздражение против этого ликующего человека. На таком душевном подъеме он перебьет всех уток, и ему, Воронову, просто ничего не останется...

— Вот что, Василий, давай уговоримся: влёт мы стреляем оба, а по сидячим я один.

— Есть, Сергей Иванович! — Васька пристал к берегу и прямо с челнока шагнул в высокую траву. Трава сомкнулась за ним, а когда снова раздалась, Васька держал в руках крупного селезня с изумрудной шеей.

— Почин сделан, Сергей Иванович!

— Да, — суховато согласился Воронов.

Озерко открылось внезапно, — в круглом зеркале воды плавали подрумяненные закатом облака. По краю вода была темной, сумрачной — то отражался плотный строй кряжистых елей, обставших озерко. Васька не стал примеряться взглядом к водоему, чтобы выбрать место получше, он сразу погнал челнок к полузато пленному островку у левого берега Озерка, смотревшему на закат. Здесь он раскидал чучела, спустил на воду затрепыхавшую подсадную, после чего загнал челнок в кусты.

— Вам хорошо видно, Сергей Иванович? — спросил он.

— Мне-то хорошо видно, да и нас хорошо видно сверху, — ворчливо отозвался тот.

— Ничего, — успокоил его Васька.

Воронов приготовился к долгому ожиданию, с какого обычно начинается всякая охота, но почти тут же раздался тихий, спокойный голос Васьки:

— Чирочек справа, Сергей Иванович.

Воронов вздрогнул и быстро забегал глазами по воде. Но он видел только чучела и среди них очень большую, какую-то ненастоящую подсадную.

— У крайнего чучела, справа, — так же спокойно подсказал Васька.

Воронов выстрелил с ощущением, что он бьет по чучелу. Дробь веником хлестнула по воде, и один из двух, равно неподвижных чирков только закачался и неторопливо повернулся неуязвимым деревянным боком, а другой распластался на воде, вытянув шею, своей смертью обнаружив бившуюся в нем жизнь.

Когда они выплыли, чтобы забрать его, в воздух взмыла уже шедшая на посадку кряква. Воронов ударил, утка кувырком свалилась в воду. Нырнув, она снова возникла метрах в тридцати от них, и тут Воронов, успевший перезарядить ружье, добил утку.

— Точно, — одобрил Васька.

Но это было только началом. Воронову редко выпадала такая счастливая охота. Он с одного выстрела уложил трех чирков, затем подряд двух матерых и крупную, как лебедь, шилохвостку. Васька тоже не оставался без дела. Он подстрелил влёт трех крякв, но один подранок ушел, другой забился в камыши, и его не удалось отыскать в сумраке водяной чаши.

Водоем был маленький, жаркая пальба распугала уток, но и в наступившем затишье Воронова не оставляла самозабвенная, счастливая напряженность чувств, за которую он так любил охоту. Он очнулся, лишь когда первая звездочка проклевала небо. Маленькая, чистая и блестящая, она ясно и остро отразилась в потемневшей воде озера.

— Ну, Василий, хватит на сегодня, брат!..

Ночевать отправились на протоку. Место для ночлега сразу нашлось: у самой воды, неподалеку от устья, стоял широкий, присадистый стог толстого осочного сена. Васька завел нос челнока на берег, выгрузил рюкзаки и стал готовить постель, с силой уминая пухлое, едковато пахнущее болотом сено.

Потом ужинали и пили чай из термоса. Совсем стемнело. Небо населилось звездами; над частоколом дальних елей вспух желтый бочок луны. Было еще тепло, хотя порой покалывало холодком, тянущим с остывающей протоки. Уплетая маринованного судака и запивая сладким чаем, Воронов вспоминал подробности сегодняшней охоты. Васька отвечал односложно, больше коротко посменвался, и Воронов решил, что это какая-то профессиональная черта: не говорить о прошедшей охоте накануне предстоящей. Постепенно и в нем самом поубавилось азартное чувство, удача перестала будоражить, она принадлежала к событиям, которые уже состоялись, исчерпали самих себя, не могли оказать никакого влияния на будущее.

Приятная усталость ломила тело, ему было покойно и мирно на душе.

— Сергей Иванович, а вы женаты? — слышался голос Васьки.

— Конечно, женат, — ответил Воронов и тут же поймал себя на чуть недовольной интонации.

— Жена в Москве? — осторожно спросил Васька.

— Нет, на курорте.

— Одна или с детишками?

— У нас детей нет.

Василий приподнялся на локте, некоторое время глядел на Воронова, затем сказал очень серьезно:

— Как же это вам не боязно... одну отпускать?

Воронов рассмеялся. Наивное восклицание егеря не было обидным для него. Напротив, он испытал приятное чувство защищенности: он был совершенно уверен в своей жене, к тому же его несколько не заботило ее поведение.

— Э, милый! — сказал он с видом превосходства. — Разве от этого убережешься?

Егерь промолчал. В темноте Воронову не было видно его лица, но он чувствовал, что тот тревожно и сумрачно задумался.

Допив чай, Воронов улегся на приготовленную постель. Очнувшись от своей задумчивости, Васька подошел к Воронову и заботливо прикрыл его своей брезентовой курткой, подоткнув полы под сено.

— Спокойной ночи! — сказал Воронов.

— Сергей Иваныч, — проговорил тот неуверенно. — Вы не опасаетесь тут один ночевать?

— Да нет, чего ж опасаться, — подавив усмешку, отозвался Воронов. Он понимал, что в Ваське говорит не ревность, а та внезапная, острая тоска по любимому человеку, которая может схватить сердце даже в самой короткой разлуке. И все-таки Васька был ему сейчас немало смешон и жалок.

— Я быстренько домой наведуся. До зорьки вернусь. Вы не сомневайтесь!..

— Давай, давай, — сказал Воронов и, чтобы Васька считал разговор исчерпанным, отвернулся, натянув ворот куртки на голову.

Он слышал, как Васька сталкивает челнок в воду; днище с визгом проташилось по осоке; сухо и резко зашуршал крупчатый песок на срезе берега, затем раздался гулкий всплеск воды и под брезент пахнуло влажным холодком. Замирающим звуком забурлила вода под носом челнока — Васька отплыл к своей жене. Воронов представил себе путь, который должен проделать Васька по двум протокам и по реке, припомнил все повороты, которые ему придется одолевать, вытаскивая челнок на берег и заводя в другое колено, а затем еще мель, которую и вдвоем-то трудно было осилить. И все это в темноте, в сырую ночную стужу. Путь отнимет добрых четыре часа. Четыре туда, четыре обратно. Чтобы успеть к заре, Васька и часа не сможет пробыть с женой. Какой же силы чувство погнало его в это чертово путешествие?..

Воронов вздохнул и откинул полу куртки. А ведь и у него была в жизни такая пора, когда он мог мчаться невесть куда, в любой час дня и ночи, по первому зову, а то и без зова. И он был полон тем страстным, трудным беспокойством, которое гонит сейчас сквозь ночь молодого охотника по водному коридору. А потом он вдруг испугался за себя, за свой покой, да бог его знает за что он еще испугался! Он до самого разрыва знал, что все поправимо — стоило ему только дать волю той самоотдаче, какой он был полон. Но он сказал себе: так лучше, спокойнее, проще. И чтобы отрезать себе отступление, женился на своей теперешней жене, которую давно знал как умного, доброго, верного человека. Если не было радости, то не было и боли, а это тоже кое-что значит...

И вот теперь встреча с этим парнем растревожила Воронова, заставила вспомнить то, что он не любил вспоминать. Но ведь и у Васьки это когда-нибудь пройдет, и он увидит свою жену такой, какой видит ее хотя бы он, Воронов: неприметная, веснушчатая, ворчливая, требовательная женщина, с головой ушедшая в домашнюю суету. Пожалуй, похмелье покажется ему горьким... «Что это я? — хмуро подумал Воронов. — Считаюсь с ним судьбами?»

Небо висело низко-низко, так плотно набитое звездами, что казалось — оно не удержит их и звезды просыплются. Да они и впрямь осыпались. И там и здесь, хрустально зеленея на лету, то отвесно, то крутыми, то широкими дугами падали они на землю. От перегретой за день земли в воздух волнами тянуло теплое испарение. И небо со всеми звездами то тускнело, словно отделялось, то, наливаясь блеском, опускалось; оно словно дышало.

Проснулся Воронов от резкого рассветного холода. В единый миг и его собственная одежда, и куртка, которой он был укрыт, и плотное, умявшееся сено под боком, и шапка на голове будто по уговору перестали хранить тепло, отдаваемое его телом. И сено и одежда, так хорошо гревшие его всю ночь, вдруг оказались холодными, сырыми, тяжелыми, враждебно-неуютными. Воронов передернул плечами, и вызванная этим движением короткая дрожь дала малый заряд тепла и бодрости. Он рывком поднялся, уже зная, что следующим его чувством будет досада на отсутствие Василия. Он увидел серое, будто пасмурное, на деле же чистое, лишь не набравшее голубизны небо, яркую рассветную полосу за лесом, седую от росы осоку и черный, мокрый нос челнока, торчащий над береговой кромкой.

Воронов подошел к челноку. Сидя на корме, Василий потрошил набитых вчера уток.

— Здорово, молодожен! — крикнул Воронов.

Васька поднял на Воронова чуть бледноватое под смуглотой загара лицо.

— И ругалась же она, Сергей Иванович, что я вас бросил! — заговорил он с радостной, не в лад его словам, улыбкой. — Я сказал, что вы меня сами послали. Вы уж не выдавайте меня...

— Да уж не выдам.

Васька осторожно, чуть вкось поглядел на Воронова.

— Вы не подумайте, что я ей не доверяю. Просто меня такая вдруг тоска взяла... Чего-то мне вспало, что могла же она другого выбрать, могла же с другим сейчас быть. И так мне невоготу от этих мыслей сделалось!.. — знакомым, недоумевающим жестом Васька развел руками. Потом вдруг закрутил кудрявой головой, усмехнулся чему-то своему и, чуть придавась, добавил: — Ох, и дурной же я!..

В темных, с голубыми, выпуклыми белками глазах Васьки застыл какой-то тускловатый хмельной блеск.

— Ты, поди, и охотиться-то не сможешь теперь, — заметил Воронов. — Вымотался весь!

— Что вы, Сергей Иванович! Да я сейчас такое понаделать могу! Да я!..

Васька произнес это с такой искренностью и простотой, что не оставалось сомнений: в отдалеке своей маленькой, озабоченной жене черпал он силу и радость жить.

В Воронове снова шевельнулось раздражение против Васьки, это счастье было докучно ему, оно давило его и словно унижало. Он готов был сказать парню, что вот придет срок, и его молодое, жадное чувство истощится, поблекнет, но вместо того спросил почти грустно:

— За что же ты ее так любишь?

— Да разве скажешь? — удивленно, точно эта мысль никогда не приходила ему в голову, отозвался Васька. — Кто я такой был без нее? Васька, и все! А теперь я человек, муж. Можно сказать, отец семейства. Да и не в том даже дело...

— Постой, постой, — усмехнулся Воронов. — Отцом семейства рановато тебе называться. Для этого как-никак дети нужны.

— Так есть дети! — счастливо засмеялся Васька. — Катька и Васька, близнецы. А еще есть Сенька, только он еще ползунок, у бабушки гостит...

— Ничего не понимаю, — сказал Воронов с каким-то неприятным чувством. — Сколько же лет ты женат?

— Старые мы, скоро шесть!..

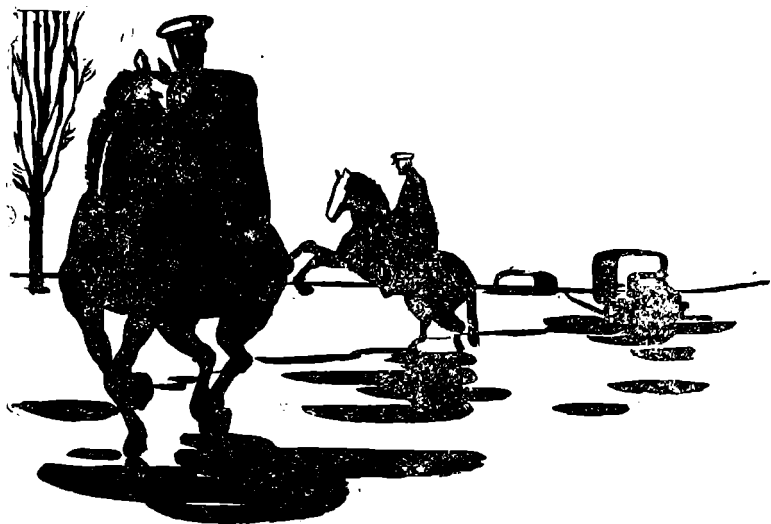
— Так какой же ты, к черту, молодожен? — грубо спросил Воронов.

Васька снова развел руками.

— Кличут так, не знаю...

«А я вот знаю!» — сказал себе Воронов, и владевшее им неприятное чувство обрело точный образ. Это была острая, тоскливая, тяжелая, как гнев, зависть. Он, Воронов, был бедняком рядом с этим парнем. Он был обобран в самом главном. Ведь и он мог знать радость, боль, волнение, ревность, пусть даже поражение — и в поражении есть трепет жизни, — а он предпочел всему этому скудость, нищету покоя.





ВАГАНОВ

— То было об летошний год. Еще Ваганов вместе с нами воевал, — сказал старшина Гришин.

— Никифор Игнатьич, а где сейчас Ваганов? — спросил Коля Кондратенков, пятнадцатилетний кавалерист, сын эскадрона.

Худое, как будто вылущенное лицо Гришина, с вислыми, мокрыми от обкусов усами, стало нежным.

— Алеша Ваганов врага в самое горло грызет. Он зверек не нам чета. У него война особая...

— Да ведь Ваганова убили под Архиповской! — сказал я, но осекся под тяжелым взглядом Гришина.

— Эх, товарищ лейтенант, молодой вы еще, и такие слова!.. Нешто Алеша Ваганов даст себя убить? Это ж подстроено все для военной тайны.

Высокий кабардин Гришина, подкидывая спутанные ноги, приблизился к хозяину и тонкой нервной губой шлепнул его по уху.

— Балуй, чертов сын...

Гришин повернулся на локте, ухватил замшевую губу кабардина, потрянул и отпустил. Кабардин заржал, обнажив розовые десны и белую кость резцов, вызелененных травой.

— Вы, товарищ лейтенант, у нас без году неделя, — стараясь быть вежливым, продолжал Гришин, но взгляд его выдавал затаенный гнев, — а я Ваганова на коня садиться учил. Вот на этого самого Чертополоха. Нет у меня такого права военную тайну разглашать, а все же скажу: воюет Алеша в самой Неметчине, бьет врага в спину, нам путь облегчает. Вот.

Гришин поворошил золу потухшего костра, достал уголек и раскурил трубочку. Махорка, которую он получал из дому, отличалась невероятной крепостью. У меня заслезились глаза, а Коля Кондратенков зашелся в надрывном кашле. Гришин хлопнул его ладонью по узкой мальчишеской спине:

— Очнись, браток! Вот так конник: дыму не сносит! На-кось, затянись разок.

Кондратенков с налившимися от натуги глазами взял двумя пальцами трубку. Из мундштучка выползал тоненькой струйкой дымок. Губы его скривились.

— А Ваганов курил? — спросил он с решимостью.

— Ваганов никакого баловства себе не позволял.

— Ну и я буду, как Ваганов, — поспешно сказал сын эскадрона.

— Кури, все равно таким не будешь. Как Гладких — будешь, как я — будешь, если, конечно, поработаешь над собой хорошенько. Вагановым родиться надо. Мы люди простые...

В словах Гришина звучала такая вера, такая убежденность в том, что Ваганов жив, что я показался самому себе мелким человеком.

Ваганова убили под Архиповской во время прорыва фронта. Увлеченный преследованием, он ворвался в деревню, занятую неприятелем. С ним был товарищ. Они могли бы спастись, но под товарищем убили лошадь. Он был схвачен гитлеровцами, прежде чем успел встать на ноги. Ваганов вернулся, чтобы умереть вместе с ним.

Дрался он отчаянно. Уже мертвого его всего истыкали клинками, танк протащил по его телу свою гусеницу. Ваганов был так изуродован, что никто не мог его признать, когда через час с небольшим в деревню ворвался 5-й эскадрон, ведомый самим генерал-майором Башиловым. Ваганова опознал лишь сам Башилов, его приемный отец. С бледным лицом, сведенным страшной гримасой боли, и пустыми глазами Башилов опустился на колени и поцеловал сына в обезображенный рот. Стянул с плеч бурку и осторожно, словно боясь разбудить, укрыл Ваганова.

В конце деревни еще слышалась стрельба, группа гитлеровцев засела в церковном подвале. Башилов поднялся с колен. Коротким броском руки указал на церковь:

— За нашего товарища...

Ваганова похоронили с воинскими почестями, а через несколько дней по бригаде пронесся слух, что он жив. Самое странное было то, что слух шел из 5-го эскадрона. Слух поддерживался и такими ветеранами, как Гришин, не верившими ни в бога, ни в черта, и доверчивыми юнцами, влюбленными в Ваганова. Слух стал правдой эскадрона, правдой бригады; другой они знать не хотели.

Я видел Ваганова однажды... Кавалерийская бригада генерала Башилова прорвала застоявшуюся оборону противника, я был «брошен» в прорыв вместе с другими корреспондентами нашей фронтовой газеты. Как и следовало ожидать, здесь всем было не до нас. Напрасно промучившись с полдня, мы осели в прифронтовой деревушке.

Я обосновался в большой чистой избе на краю деревни. Старушка хозяйка принесла горячей молодой картошки в красноармейской каске, самовар и чайник с настоем «гоноболя». Как привычна, но всегда обидна была бедность прифронтовой деревни, живущей под огнем в какой-то очумелой покорности со своими пустыми закутками и обезголосившими насестами. Источник жизни этих деревень — воинские части, прохожие и проезжие солдаты и офицеры, несущие с собой надежду, запах жизни, неизменное гороховое пюре и комбижир.

Я выложил свой припас и пригласил старушку к столу. Но она предпочла «сухой паек» и, получив его, скрылась за печку. Я присел к окну и стал пить зеленоватый, и цветом и вкусом напоминающий лекарство, чай.

Под окном росла береза. Она была расщеплена милой, половина ее, черная и засохшая, умерла, другая, склоненная к земле, зеленела свежим глянцевым листом. Под этой березой на скамейке собралась компания: танкист в промасленном комбинезоне, с гармонью на потертом ремне, белобрысый сапер, два шофера со свежими, розовыми лицами в черной рамке отмытой к вискам и шее грязи, несколько девиц в цветных платьях и калошах. Выходя на круг, девицы снимали калоши; отгояв положенное, снова надевали их и отходили в сторону. Из кавалеров неплох был белобрысый сапер. Но то ли гармонист был лишен огонька, то ли танцоры вяловаты, а только в пляске не чувствовалось размаха, она казалась бледной и натянутой, как в повинность.

Подошла хозяйская дочь и тяжело, с ленцою опустилась на лавку у окна. У нее было большое красивое лицо. Казалось, она ощущает свою красоту, как бремя. Усталость чувствовалась в ее чуть опущенных плечах, тяжелых веках, более смуглых, чем щеки и лоб.

— Что ж вы не танцуете? — спросил я.

— Очень нужно! — ответила она, не повернув головы.

Она глядела мимо пляшущих на потонувший в рослых травах погост с тремя светлыми, белесо-матовыми липами, словно испугавшимися в молоке.

По правую руку широкая деревенская улица выливалась в большак. Близ устья большака голубела огромная лужа, в которой с надсадным воем, похожим на гуд пчелиного роя, тонул тупорылый «студебеккер». Два всадника, расплескав лужу, вынеслись на околицу и, круто завернув коней, осадили у нашего дома.

Один из них, кургузый, спешил, кинул поводья своему спутнику и, грузно переваливаясь на толстых ногах, заковылял к двери. Испуганно охнула, сорвавшись на низах, гармонь: вскочил танкист, отдавая честь. Как пружиной, подкинуло с присядки белобрысого сапера.

— Отдыхайте, отдыхайте! — ворчливо бросил тучный кавалерист.

Шаги его глухо прозвучали по земляному полу сеней, распахнулась дверь, и я увидел красное лицо, сердитые глаза и кургузую, с наклоном вперед, фигуру грозного генерала Башилова.

Я встал.

— Кто такой? — недовольно, в упор спросил, словно выстрелил, Башилов.

— Из фронтовой газеты.

— Писатель, — усмехнулся он, показав крупные желтые зубы. — Харчуйтесь, писатель.

— Может, мне уйти, товарищ генерал-майор?

Сердитые глаза Башилова набухли кровью сосудов:

— Сказано, харчуйтесь! Помешаете — сам выгоню!

Вскоре он вышел в голубой трикотажной рубашке и брюках с лампасами. Наклонив голову под поршенек рукомоиника, стал поливать шею с толстым вздутием затылка, побряхтывая и ворча. Казалось, он чем-то недоволен и раздражен: вода ли недостаточно холодная, рукомоиник ли слишком скупо выпускает воду.

Дверь распахнулась, в горницу стремительно шагнул высокий кавалерист, прибывший вместе с генералом. Костлявое крыло бурки зацепилось за косяк, полы разлетелись, обнаружив в своем пещерном нутре тонкую, как тростник, юношескую фигуру.

— У Рябчика ссадина на цевочке, товарищ генерал! — сказал он звонко.

— А я тебе что говорил? Подорожнику надо приложить.

— Сделано, товарищ генерал! — блеснул тот радостной улыбкой.

Генерал, ожесточенно вытиравший суровым полотенцем лицо и шею, вместе с высоким кавалеристом прошел за печь. Я услышал их тихий разговор:

— Испугался я нынче за тебя, Алеша. Больно уж ты горяч!

Этот голос, как будто вобравший в себя все тепло мира, поразил меня. Неужели обладатель его тот самый Башилов, чей урчливо-недовольный бас я слышал несколько минут назад, или кто-то третий незримо прошел туда?

— Ну что ты, отец! Ты же знаешь, меня пуля не берет!

— Не берет, не берет!.. А только смотри, ты у меня один, — с трещинкой хрипотцы сказал голос.

Скрытая нежность — эта обычная изнанка суровых душ — казалась мне удивительной в Башилове. Один из самых лихих рубак конного корпуса, Башилов был уважаем всеми, но никем не любим. А между тем он

обладал всеми качествами, которые отдают командиру сердца подчиненных. Он был неліцеприятен, заботлив, справедлив и совершенно не мелочен в своей требовательности. Нигде не жилось бойцам лучше, чем в бригаде Башилова. Но он был замкнут и суров. Говорили, что Башилов потерял семью в первые дни войны; кажется, это было правдой.

Ваганова генерал подобрал на Полтавщине, когда бригада с боями вырвалась из окружения. Ваганов спал в придорожной канаве, положив голову на твердый кулак; рядом с ним валялось странное самодельное оружие: кухонный нож, всаженный в длинную толстую палку. Подросток дрожал и плакал во сне, но, разбуженный прикосновением руки генерала, сразу вскочил, схватился за свое оружие со злобным блеском мгновенно проснувшихся глаз. Оказалось, он поджидал гитлеровцев. Поджидал двое суток и, не выдержав, уснул. Его мать и сестренки погибли от вражеской бомбы в своем доме, когда он лежал на огороде, чтобы лучше видеть бомбежку. Говорил мальчишка неохотно, каждое слово приходилось вытягивать из него чуть не клещами.

— Пропадет малец зазря, — сказал адъютант генералу. — Может, возьмем его с собой?

Генерал ничего не ответил, он только хмуро пощипывал жесткую щетину усов. Зато сказал мальчишка, бледными страстными глазами дерзко глядя прямо в лицо генералу:

— Вы тикаете — и тикайте! А мне фашистов убивать надо!

— Дурак! — с удивившей адъютанта мягкостью проговорил генерал. — Убивать вышел, а сам дрыхнешь в канаве. Да и кого ты, такой вот, убьешь? Идем с нами, мы тебя научим убивать. Это вот, — он тронул висящую на боку шашку, — получше твоей орясины.

Мальчишка с жадностью взглянул на шашку:

— А мне такую дадите?

— Окажешь себя — свою отдам.

Два мрачных лица: одно — юношеское, со следами недавних слез, другое — сухое и старое, тронулись улыбкой.

Определив Ваганова во 2-й эскадрон, генерал, казалось, забыл о нем совсем. Только через год призвал он

его к себе, показал свой знаменитый удар, разымающий падвое человека, и усыновил. В течение всего этого года генерал незаметно для окружающих внимательно следил за Вагановым. Он укрепился в своей первой догадке, что в этом юноше горит огонь более сильный, чем в других оскорбленных душах.

— Все-таки побереги себя, Алеша, — говорил между тем генерал. — Не век же тебе убивать! С твоей душой далеко шагнуть можно.

Я не слышал ответа Ваганова, слышал, как генерал спросил:

— Неужто не перебродил еще?

— Нет! — со смехом ответил Ваганов. — Разгуляться не пришлось. Заорали: «Гитлер капут!» — и с лошадей долой. Зря шашку вынимал: порубать-то почти и не пришлось.

Ваганов вышел из-за печи и, развязав тесемки, скинул бурку на лавку. Она легла, свернувшись, как отдыхающий зверь.

Ваганов был строен и гибок, как хлыст. Он выглядел щеголем, хотя на нем была самая обычная солдатская одежда, довольно поношенная, с крестиками штопок. Но она так ладно облегалась его тело, так покорно следовала каждому движению мышц, как это никогда не бывает с казенной одеждой.

Все же вначале я увидел только очень стройного и очень молодого кавалериста. Ваганова я понял чуть позднее, почувствовав исходящую от него, как ток, нервную, страстную силу, которой была пронизана каждая клеточка его тела.

Скрытое напряжение страсти его невероятно чуткой натуры обнаруживалось даже не в слове, не в жесте, а в чуть заметных волнах крови под тонкой кожей, невольном посверке глаз, взмахе ресниц, каких-то нежных тенях, пробегающих по его очень юному лицу.

Ваганов вышел из избы и присоединился к танцующим:

— Что так вяло, ребята?

— Давай веселей, если можешь, — отозвался гармонист.

— Да ты не потянешь, — подзадорил Ваганов.

— Оно, конечно, пам, пскопским, куда до вас, рязанских! — протянул гармонист, вскинул голову и на весь

разворот разорвал мехи. Словно вздохнула от обиды душа музыканта, разом прорвалась к живому звуку. Пошла, пошла гармонь, то обмирая в робком дыхании, то взвизываясь вызовом и задором.

У Ваганова опьянели глаза, он бросился в пляску, как в бой. В его пляске была какая-то нежная жесточность.

— Давай! — кричал он гармонисту.

А тот, закаменев лицом, все быстрее и быстрее бросал пальцы по клапанам, выламывал плечи, сердясь и изнемогая в борьбе с танцором.

Ваганов ударил землю коленом перед одной из девиц. Та засмушалась для порядка и вышла на круг, заломив одну руку к затылку, другую отведя, как для защиты, и поплыла вокруг бешено кидающего ноги в припадке кавалера.

— Ходи веселей! — кричал Ваганов.

Та заторопилась неладно скучной утицей вслед медлительному ярому селезню.

— Куда Нюшке против него держаться! — сказала красивая дочь хозяйки.

И, словно услышав эти презрительные слова, Нюшка бочком-бочком вышла из круга. Верно, и она почувствовала свое несоответствие кавалеру.

Ваганов вскочил, развел руками:

— Эх, какой все народ холодный!..

Взгляд его упал на наше окно. Лицо хозяйской дочери вспыхнуло. Словно подчиняясь молчаливому приказу, она спустила с плеч шаль и вышла на улицу. Казалось, вместе с шалью она сняла и тяготившее ее бремя. Куда девалась ленца, вся живая юность радостью вспыхнула в ней.

И все почувствовали: вот два достойных партнера или, вернее, противника. Это слово точнее определяет характер отношений пары в русской пляске, где вызов ярче соединения, где заман ведет к отстранению, в пляске, пронизанной борьбой, гордостью, непокорством.

Она знала, противник может завихрить ее, сбить, одолеть, как Нюшку, если она попытается сравняться с ним в быстроте. Она пошла плавно и неспешно, уравниваясь с ним в силе чувства, единственно дающего согласие в танце. Одно движение плеча, взлет ресниц — и они равны; притоп ногой, неожиданный, с разлетом юбки

поворот, и уж не ей, а Ваганову приходится разжигать свой огонь, чтобы не отстать в страсти.

Они были равны друг другу. Он шел всюду, куда она его звала. Путь его был нелегок. Горы, реки, пропасти, дремучие леса метала она ему под ноги. Но он не боялся трудных путей. Птицей пронесился над всеми препятствиями и, настигая, кричал:

— А ну еще!..

И ни один из них не уступил в этом поединке. Сдался третий — гармонист.

— Дай пощаду, кавалерист, — сказал он, отнимая от гармонии упрелое до красноты лицо.

— Неужто уже все? — спросил Ваганов. — Вишь, я сухой совсем.

— Если ты и воюешь, как пляшешь, ценный ты человек! — сказал белобрысый сапер.

Ваганов засмеялся:

— Ну, воюю я с цельной душой, пляшу с остаточков...

Последнее, что я заметил, отправляясь спать на сеновал, было лицо хозяйской дочери. Прелесть ее лица не замыкалась более в грубой определенности черт, а уходила в простор, как сияние.

Я спал на сеновале. Было за полночь, когда пришел Ваганов. Он был не один. Я услышал тихий разговор.

— Спокойной ночи, хороших снов, — говорил Ваганов, вскарабкиваясь по лестнице.

— Что ж так скорр, Алеша? — с тоской проговорил грудной женский голос.

Ваганов остановился, мне видна была его рука, вцепившаяся в балку.

— Нельзя мне, понимаешь, нельзя! А то пропаду совсем. Я себя ни до какой такой жизни не допускаю...

— Постой, Алеша! — просил женский голос. — Ведь, может, не свидимся больше...

— Нельзя! — Рука Ваганова сильнее вцепилась в балку. — С вашим братом осторожней надо. А то забудешь все...

— Видать, много вы нашего брата перевидели, — ревниво сказала девушка, — то-то вы такие не жадные...

Ваганов ответил тихо, принужденно:

— Если дождешься, первой будешь.

— Ой ли?

— В глаза погляди — вру я?

— А долго ждать-то? — спросила девушка, и в голосе ее была печаль и немного насмешки.

— До победы! — Ваганов засмеялся, поцеловал девушку и быстро вскарабкался на сеновал.

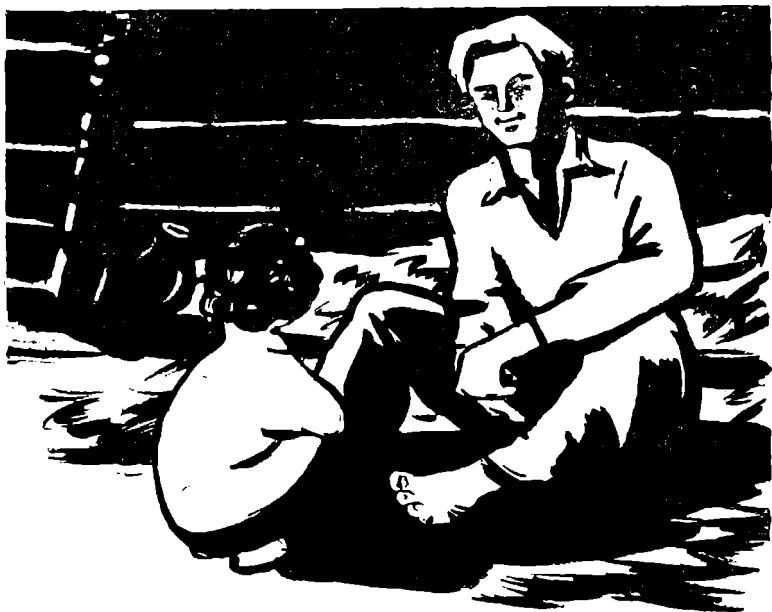
Через минуту я уже чувствовал его горячее дыхание около своего лица.

...Ваганов спал, врывшись руками в солому. Сквозь окошко в крыше на него падал зеленоватый свет месяца. Ему снились какие-то сны, он улыбался, вскрикивал, не глухо, как спящий, в томительной душной возне подсознания, а ясно и звонко; раз он вырвал руку из соломы и косо резанул ею воздух. Казалось, и во сне он живет с той же страстной напряженностью.

Под утро пришла хозяйская дочь, босая, на плечах старенький полушубок. Она наклонилась к Ваганову, долго глядела на него, — обреченным казалось мне ее лицо, — поцеловала его закрытые глаза и сошла вниз.

Я проснулся рано, еще только светало, и подумал, что постыдно упускаю превосходный материал, сам давшийся мне в руки. Но Ваганова уже не было рядом. Я спустился вниз и увидел хозяйскую дочь, строгую, прибранную; она сидела у окна и глядела на дорогу...





ТРУБКА

Быль

Моей детской коляской была цыганская кибитка, все мое раннее детство прошло на колесах. Когда я вспоминаю ту далекую пору, то раньше всего в памяти возникает не пейзаж, не лица близких мне людей, не голос и руки матери, а ощущение непрерывного, дремотно-однообразного движения. Стоит мне закрыть глаза, и ощущение это достигает необычайной силы и глубины. Всем своим существом чувствую я нетомно-тряское движение кибитки, жесткие толчки на рывках и ухабах, дурманную болтанку, когда колесо западает в колдобину.

В непрерывном движении виделся мне и окружающий мир. Дорога струилась из-под колес, увлекая за собой

обочину и придорожные кусты, в обгон нас бежали перелески, рощи и хлеба, а вокруг без устали кружился тонкий синий ободок, смыкающий небо и землю.

Мне было восемь лет, когда деревья, дома, поля, кусты — все замерло в прочном покое. Тяжелая болезнь матери заставила нас покинуть табор и поселиться в деревушке Богданово бывшей Воронежской губернии, у рыжего Михайлы, нашего дальнего родственника.

Влюбленный в кузнечное дело, Михайло был одним из немногих оседлых цыган. При кузне, низеньком прокопченном здании с дверью, висевшей на одной петле, и трухлявой крышей, увенчанной обрезанной самоварной трубой, то и дело швырявшей в небо пригоршни искр, находилась столь же ветхая пристройка. От ударов могучего молота Михайлы и без того хилый флигелек расшатался, в нем все скрипело: двери, окна, стены, полы. Каждый шаг по горнице сопровождался перезвоном посуды, а когда сам Михайло, огромный и грузный, переступал порог, все столы и лавки подпрыгивали и долго не затихающая музыка наполняла дом.

Жить в этом певучем, испачканном сажей доме было тесно, но весело. Мать вскоре поправилась и с удовольствием занялась новым для нее делом — домашним хозяйством. Михайло ковал, отчим лудил котлы, при этом оба пели раздолбные и жалобные песни нашего племени.

Так жили мы до лета 1919 года, когда казачий отряд генерала Мамонтова спалил нашу деревушку. Впрочем, тогда я не знал, кто и зачем это сделал. Деревня лежала под нами, в низине, и однажды поутру я обнаружил взамен соломенных и тесовых крыш — черные, обуглившиеся стропила, исходившие витыми, тонкими дымками.

Тогда-то и прозвучало в нашем доме забытое мною слово «линять». В этом слове — скрытая тоска цыган по быстрому движению. Для изумленных быстротой железнодорожного сообщения цыган «линяя» стала символом движения. Произнося это слово, цыгане как бы приравнивали медлительный ход своих кибиток к волшебному лёту поезда.

Узнав, что мы собираемся «линять», Михайло взвалил на одно плечо свой двухпудовый молот, на другое — мехи и подался в окрестные просторы: искать работу по кузнечному делу.

Но мы не скоро снялись с места. Как выяснилось позже, мы ждали табор Амельки, который, по слухам, должен был пройти в наших местах. С этим табором кочевала моя бабушка.

Однажды ночью меня разбудили. Мать сама натянула мне на ноги башмаки и вывела во двор. Спросонья я ничего не мог понять. Все пространство вокруг кузни было загромождено крытыми холстиной фургонами, казавшимися в ночи громадными. Между ними сновали люди с клочками горячей пакли в руках. В рваном красноватом свете мелькали какие-то волшебные лица: крючковатые носы, до синевы смуглая кожа, дегтярной черноты кудлатые бороды. За год, прожитый нами у Михайлы, я отвык от вида моих кочующих соплеменников, от их гортанно-сдавленных голосов, длинных жестов мужчин и беспокойных, дробных движений женщин. Люди занимались самым обычным делом, каким полагается заниматься на привале: распрягали лошадей, задавали им корм, осматривали колеса, подмазывали оси, чинили порванную упряжь, но их простые движения казались мне таинственно-грозными. К тому же во всей этой кутерьме я потерял родителей.

В горле моем закипали слезы, я уже открыл рот, чтоб издать тот единственный клич, который способен был вернуть мне мать даже с другого конца света, когда что-то мягкое и теплое объяло меня, накрыло, словно перинкой, и голос незнаемой нежности произнес:

— Внучек мой, деточка моя!

Всем существом ощутив покой и доверие, я прижался к большому теплому телу бабушки.

А затем я вновь наполнился шумом, скрипом, мелкой дрожью движения: мы тронулись в путь, и годовичное житье на прочной земле показалось коротким обманчивым сном.

Утром я разглядел свою бабушку. У нее было смуглое, гладкое, словно глазурью облитое лицо, глаза вишенками, белые волосы, перечеркнутые угольно-черной прядью. Но и седые волосы ее не старили, лишь по мочкам ушей можно было догадаться, что бабушке очень много лет. Мочки были дряблые, растянутые серьгами, а дырки для серег похожи на разрез ножом.

Кроме нашей семьи и бабушки, в кибитке помещались золовка матери с годовалым младенцем, ее муж,

правивший лошадьми, — за все дни пути я видел лишь острые бугры его лопаток под розовой ситцевой рубашкой, — и младший брат матери Петя.

Петя — подросток лет пятнадцати, большерукий и большеногий, с телом взрослого мужчины и простодушным курносым лицом.

Обнаружив мое присутствие в кибитке, он подполз ко мне и спросил, умею ли я курить.

— Нет, — сказал я.

— А часы у тебя есть?

Я снова ответил отрицательно.

— А еще цыган! — презрительно усмехнулся Петя.

— А у тебя есть часы? — спросил в свою очередь я.

— Какие, с цепочкой?

— Ага.

— Нет, с цепочкой нету, — со вздохом признался Петя.

— А без цепочки?

— И без цепочки нету, — ответил он так грустно, что у меня пропала охота над ним смеяться.

Но Петя не оценил моего великодушия, он насупился и больше не заводил со мной разговоров. Меня это несколько не огорчало. Бабушка требовала, чтоб я называл его «дядей», а мне было противно величать дядей мальчишку.

Наш табор состоял из цыган-котельщиков. По роду своих занятий все цыгане делились на три большие группы. Цыгане-барышники занимались куплей и продажей лошадей, они перегоняли целые табуны из одной губернии в другую и наживали большие деньги. Это «барвалэ», цыгане-богачи. Полную противоположность им являли «злыдари», занимавшиеся попрошайничеством, воровством, обманом, а также «привораживанием». Какой-нибудь вдовушке нужно расположить к себе, «зачаровать» молодого парня, — по этой части среди моих соплеменников было немало тонких специалистов. Наконец, третью группу составляли цыгане-ремесленники, или «котельщики». Они лудили котлы, мастерили рогаши, чернили чугуны, сшивали сковороды.

Думаю, что в дороге наши котельщики не брезгали и другими способами разживы. Верно, не одного доброго молодца приворожили мы к чернобровой вдовушке, не на одну навели и свели хворь, не один обчистили огород,

не одну обтрясли вишню. Грех искупался тяготами пути.

Мы двигались по разоренной земле, мимо спаленных сел и деревень, мимо порушенных фабрик и заводов. Мы проезжали большие станции, где в тупиках длинные составы на разные голоса выпрашивали себе дорогу.

Мы двигались пустынной, запорошенной угольной пылью землей, где конусообразные отвалы пустой породы черными треугольниками врезались в зеркальную гладь неба, где ржавые механизмы над стволами затопленных шахт служили пристанищем для галок и ворон.

Мы обгоняли невесть куда бредущих обездоленных людей; люди шли, падали и умирали на дорогах. Не соприкасаясь с чужой бедой, безучастные ко всему, кроме нашей путевой судьбы, двигались мы на юг.

Кругом гремели бои гражданской войны, но мы ни разу не натолкнулись на воинские части: очевидно, Амелька знал, как вести табор. Лишь однажды, задержав нас у переезда, медленно прошел на запад невиданный поезд — стальной дом на колесах, ощерившийся стволами пушек. На брошированной площадке стояли люди в гражданской одежде, подпоясанные ремнями. Я отчетливо видел их усталые суровые лица и жилистые руки, сжимавшие винтовки.

Я во все глаза смотрел на этот диковинный поезд и вдруг испугался. Страх убил во мне любопытство. Я уткнулся в подол бабушкиной юбки и не поднимал головы до тех пор, пока тяжкое дыхание стального поезда не замерло вдали...

Скука, которой я томился во все дни кочевья, словно кислотой, выжгла в моей памяти подробности этого долгого пути. Все становится удивительно ясным и отчетливым лишь с того момента, когда колеса кибиток стали вязнуть в песках бывшей Таврической губернии.

Помню, я выглянул из повозки и обомлел. С белесого неба светило жаркое солнце бабьего лета, зажигая многоцветные заусеницы на стволах сосен, а по земле стелилось снежное одеяло. Я спрыгнул на землю и по щиколотку ушел в горячий, сухой снег, отливавший бледно-лиловыми и нежно-золотистыми чешуйками. Я кинулся к бабушке:

— Бабушка, снег!..

— Нет, милый, это не снег, это солончаки, соль с песком, — ответила бабушка.

Я не поверил. Соль покупают в лавках, и какой дурак станет расшвыривать по земле добро, стоившее денег! Конечно, это был снег, но только не зимний, а летний, и мне очень хотелось увидеть, как он сыплется с неба.

Фургон наш почти не двигался. Мы слышали надсадные вопли возницы, скрип оглоблей и хруст песка. Повозка колыхалась из стороны в сторону, но кривая сосна, вот уже сколько времени маячившая близ кибитки, не отступала ни на шаг. А затем нам велели вылезти из кибиток. Мужчины, вооружившись лопатами, стали откапывать тонущие в песке колеса, они рубили и подкладывали под них ветки, — тщетно. Кибитки все глубже и глубже вязли в песке, обманный снег, словно болото, засасывал табор. Мы стали намертво.

Бессилие порождает злобу. В эту тяжелую минуту золовка матери вспомнила, что отчим, мать и я — чужие в таборе. Из ее визгливых возгласов можно было угадать, что мы виновники всех бед и напастей, мы выдумали эти гиблые пески, если бы не мы, табор давно бы достиг земли обетованной.

Это была молодая, пестро и по-цыгански нарядно одетая женщина: красная юбка, синий жакет, отороченный собачьим мехом, вокруг шеи цветная лента, на голове шелковая косынка. Всю дорогу она была совершенно безучастна к окружающему, занятая лишь своим сыном, крошечным голеньким существом. Она кормила его грудью, нажимая пальцем около соска, чтобы сильнее вытекало молоко, покусывая тонкие губы с блаженно мучительным выражением лица; заворачивала его в тряпки и тут же разворачивала, чтоб поцеловать в красный сморщенный задок; подкидывала его высоко в воздух, вскрикивая испуганно и счастливо; скармливала ему, как голубю, из своего рта какую-то кашичу.

Сейчас она впервые забыла о своем малыше. Он лежал на спинке, голенький, большепузырь, шевеля всеми пальчиками ног и рук зараз, и, казалось, с веселым изумлением внимал истошным крикам матери.

— Замолчи, замолчи, ласковая, — твердила бабушка, но женщина не упималась.

Моя мать сидела молча, зажав руки в худых коленях, она словно не слышала брани золовки. Затем так же

молча встала и швырнула наземь узел с нашими пожитками. Подошел отчим в поту и дегте. Он слышал, как поносила нас золовка, и ни о чем не спрашивал. Он протянул руки и снял меня с повозки. Следом за нами, тихонько охая, сползла и бабушка. За ней, уронив на землю рваную широкополую войлочную шляпу, прыгнул дядя Петя.

Нас никто не удерживал. Оскорбление родственного чувства редко прощается у цыган. Золовка была в своем праве, но и мы не могли поступить иначе.

Лишь один Амелька, кряжистый, косолапый, похожий на медведя, пощелкал языком о небо и дважды повторил: — Лихо!.. Лихо!..

Когда мы уходили, золовка как ни в чем не бывало протягивала грудь младенцу, причитая над ним бисерным голоском...

На большом проезжем тракте взрослые устроили семейный совет. Куда податься? Ни кибитки, ни лошадей у нас не было. Пешком далеко не уйдешь, а ехать по железной дороге — нужны гроши. Денег же от силы хватало на два билета. Решили так: отчим и мать поедут по железной дороге в станицу Егорлыкскую, где жила родня отчима. А мы — бабушка, дядя Петя и я — пойдем пешком к дяде Сидору, живущему не более чем в ста восьмидесяти верстах отсюда. Когда же мать и отчим обоснуются на новом месте, они приедут за нами.

Мать и отчим ушли. Мы долго глядели им вслед. Сперва пропала, как будто растворилась в воздухе, тонкая фигура матери, затем даль поглотила и крупное тело отчима, но еще долго ярким пятнышком горел на дороге большой узел, который отчим нес за плечами, затем и оно исчезло.

Наш путь лежал по местам зажиточным. Богатые люди ели белый хлеб, пироги да пампушки и, не пряча корочек про черный день, скармливали их свиньям. Нам тоже кое-что перепало.

На промысел посылали меня. Я рассказывал придуманную бабушкой жалостную историю, выдавая себя за круглого сироту. Мне была неприятна эта ложь, не потому, чтобы я вообще стыдился неправды, а потому, что считал дурной приметой говорить о смерти родителей. Но голод не тетка... Нередко я собирал по целому рукаву огрызков хлеба, кусков пирога, оладий. Но чаще

возвращался с пустым рукавом и столь же пустым желудком. Тогда бабушка сердилась и говорила, что я плохой цыган, коли не умею подладиться к людям. Меня это печалило, но я не понимал причины своих частых неудач. Я всегда выбирал самые богатые дома, самых толстых, откормленных людей. Мне казалось, что те, кому больше дано, охотнее поделятся с бедняком. И когда меня гнали прочь, я думал, что ошибся — неимущих принял за богачей.

Это случилось на четвертый или пятый день нашего пути.

Стоял тихий-тихий вечер, и мне казалось, что я слышу, как дергаются хвостики прыгающих на дороге трясогузок. Чистое голубое небо потускнело, лишь на западе оно горело жарко-красным закатом. Полукруглая краюшка солнца сияла из-за фиолетовой тучи, словно раскалившийся в углях кусок металла. Мне вспомнилась кузня Михайлы и вся наша тогдашняя веселая жизнь, и ужасно пусто, одиноко показалось мне на дороге. Я нагнал бабушку и уцепился за ее юбку.

— Устал, Колька? — сказала она сердито, потому что все равно не могла мне помочь. — А вот бабушка старая не устала, и дядя Петя не устал.

— Вы — вон какие, а я маленький!..

— Восемь лет — не маленький. В восемь лет твой дедушка коня украл.

Я замолчал, подавленный своей бесталанностью. Круто свернув, дорога подвела нас к краю котловины, обросшей поверху пижмой. В широком окне между кустами открылась обширная низина, пересеченная красноватой глинистой лентой большака. Большак взбегал на греблю — земляную плотину, перекрывавшую заболоченную балку, — и сразу за насыпью поглощался улицей большой станицы.

А у подножия обрыва, прямо под нами, лоскутно пестрели шатры, грудились повозки с задранными к небу оглоблями, паслись стреноженные кони: табор на привале.

Лучи заходящего солнца, проникая сквозь кустарник, отдавали свой последний свет самому яркому, что было в таборе, — цветным лоскутьям шатров, насечке сваленной у шатров сбруи, шалам, монистам и серьгам снующих вокруг огнища женщин.

До чего же умна и хитра наша бабка — вела нас прямо к табору и виду не показывала!.. Я засмеялся и захопал в ладоши, а дядя Петя содрал с головы свою драную, похожую на воронье гнездо шляпу и подбросил ее в воздух.

Бабушка не разделяла нашей радости. Она глядела вниз, на табор, и качала головой. А затем схватила меня и дядю за руки:

— Идем отсюда. Здесь нехорошо!..

Но мы не успели и шагу ступить, как из-за кустов возникла, преградив нам путь, рослая фигура пожилого цыгана. Был он строен и крепок телом, в широких черных шароварах и мягких козловых сапогах, в нарядном бархатном жилете, из-под которого змейкой вилась серебряная часовая цепка. Серые, туго свитые кудри обрамляли костистое лицо с ястребиным носом, за ухом была заложена веточка пижмы с оранжевыми бусинками ягод. В руке он держал колоду засаленных карт.

Цыган вежливо поздоровался и стал нас спрашивать: кто мы, куда держим путь и почему, завидя цыганский табор, не идем к костру, зачем чураемся своих?

Цыганская речь необычайно богата оттенками иронии: злыми и добрыми, насмешливыми и удивленными, задаривающими и угрожающими, просящими и повелительными. Не только тоном, но и расстановкой слов, ударениями, легким прищелком языка, самым простым словам может быть придан иной, потайной смысл. Даже мы, дети, владели искусством подобной беседы. И нет ничего удивительного, что я, восьмилетний мальчик, уловил в дружественных словах пожилого цыгана иронию, притом иронию угрожающую.

— Это табор Баро Широ? — спросила бабушка, и я увидел, как порывисто вздымается ее стянутая шалью грудь.

— А хоть бы и так? — отозвался цыган, играя цепочкой. — Разве Баро Широ тебе дорогу переступил? Баро Широ — простой человек, гостям рад, гостями весел. Ступайте до табора, ласковая моя, желанными гостями будете! — и не в лад дружественным словам в тесно сведенных к переносью глазах цыгана сверкнула какая-то злобная насмешка.

У цыган существуют свои строгие правила, нарушить которые считается преступлением. Так, например, нельзя

ответить отказом на вежливое приглашение к костру. Но по тому, как сжала бабушка мою руку, я почувствовал, что мы сейчас обратимся в бегство.

За нашей спиной послышался шорох раздвигаемых ветвей. Потягиваясь и разминая затекшие члены, из-за кустов нам в тыл вышли еще два цыгана. Верно, они играли там в карты.

Разжав пальцы, бабушка выпустила мою руку. Она не произнесла ни слова, только поникла головой, как бы признавая над собой власть этих людей.

В таборе Баро Широ нас приняли очень гостеприимно, угостили замечательной молочной кашей, мне и дяде Пете дали по большому антоновскому яблоку. Бабушка не притронулась к еде, она сидела на земле, охватив колени руками, и все качала, качала головой, круглые металлические серьги колотили ее по щекам. А затем к нам подошли молодые цыгане. Смеясь и балагуря, они увлекли дядю Петю с собой. И тут я увидел, как бабушка подняла руку к своей кивающей голове и медленно, с каким-то задумчиво-отрешенным выражением вырвала седую прядь волос и кинула ее в траву.

Но я должен прервать свой рассказ и объяснить, что представлял собой табор Баро Широ.

У цыган существовал свой «беспроволочный телеграф». Встречаются на дороге два цыгана и тут же начинают пытаться друг друга: из какого, мол, табора, куда и откуда путь держишь, кого повстречал дорогой, не ведомо ли тебе, где Синий, где Черный табор, в каких краях Амелька кочует?.. Знаком или не знаком тебе встречный человек, друг он тебе или недруг, ты должен по всей совести ответить на его расспросы. Главный интерес для цыган представляли пути таборных кочевий — и тут ты должен был делиться не только своим знанием, но и сведениями из третьих, четвертых уст.

По этому беспроволочному телеграфу бабушке было известно, что в здешних местах нам не может повстречаться ни один табор, за исключением того, чьи дороги никому не ведомы, что появляется невесть откуда и исчезает невесть куда, — словом, за исключением страшного разбойного табора Баро Широ — Большой Головы.

В то время по ярмаркам, селам и станицам бродило множество цыган-одиночек, по той или иной причине

покинувших родной табор. Один стал жертвой несчастной любви, другой поступил нехорошо по отношению к табору и был изгнан, иной вышел из тюрьмы, отсидев за конокрадство, и не успел нагнать своих... В старое время цыган принято было называть бродягами. Гонимые и преследуемые в течение многих веков, лишённые своего клочка земли под ногами и прочной кровли над головой, цыгане были бродягами поневоле. Сами мы не любили этого слова и называли так лишь отбившихся от табора одиночек. Баро Шыро заманивал таких бродяг в свой табор, состоявший из нескольких родственных семей и его многочисленных жен. Когда набиралось пять-шесть человек, Баро Шыро подбивал их на «дело» — так называлось конокрадство, а сам со своей свитой шел по богатым станичникам и говорил: «Мы — цыгане, но не воры. Не все цыгане воры, и мы хотим, чтобы вы в этом разобрались. Завтра к вам придут плохие цыгане воровать коней, вы их поймайте и накажите как следует». Станичники, народ недоверчивый, обычно отвечали: «Хотите калым взять? Не выйдет. Все ваше цыганское племя одним мирром мазано». — «Мы ничего не возьмем, покуда вы не поймаете этих воров. А когда поймаете, вы нас вознаградите. У вас триста дворов — триста полтинников. На месяц жизни табору».

И уходили. В назначенный день и час посылали на «дело» ни о чем не ведающих парней. Те шли — и не возвращались. Станичники были круты на расправу. Они убивали конокрадов топорами, вилами, кольями и хоронили в общей яме. А Баро Шыро собирал дань. И тут станичники не скупились; кроме условленной платы, отваливали цыганам и мяса, и яиц, и муки, и кое-чего из платья. Ночью разбойный табор снимался с места и, уходя, нередко отбивал тот самый косяк коней, за который подосланные им несчастные парни заплатили жизнью.

Приспешники Баро Шыро умели держать язык за зубами. Само собой разумеется, станичники тоже помалкивали. И потому, хоть цыгане и ведали, что в таборе творятся чёрные дела, что немало погибло там молодого пришлого народа, но чем все же занимается табор Баро Шыро, никто толком не мог понять.

Все это я узнал значительно позже...

Я, конечно, видел тревогу и скорбь бабушки, но мне

в таборе Баро Широ очень понравилось. Помню первую ночь. Звездное небо. Я лежу на теплой, мягкой постели. Мне никогда не доводилось спать на такой хорошей постели: пухлая перина, под головой набитая сеном подушка, укрытая почти нервным одеялом. Я хлопаю себя по животу, набитому молочной кашей, он тугой, как мяч. Мне хочется смеяться. Но рядом сидит бабушка. Она не спит. Отблеск потухающего костра падает на ее лицо, на котором что-то блестит. Я догадываюсь, что это слезы, и мне неприятно смотреть на бабушку. Я отвожу глаза и смотрю ввысь. Небо усеяно звездами. Звезды шевелятся, подмигивают друг дружке, а порой и перекатываются по черной глади неба. Им тоже весело. Я думаю о том, что теперь у нас каждый день будет молочная каша и теплая постель, и с этой мыслью засыпаю.

Я не ошибся в своих ожиданиях. Была и каша и белый хлеб, и никто не требовал, чтоб я ходил по дворам, где злые собаки, а люди злее собак; были и веселые игры с маленькими цыганятами.

Мы собирались на площадке перед костром и торговали воображаемыми конями. Мы хлопали друг дружку по рукам, как это делают барышники, слюнявили и долго пересчитывали конфетные бумажки, означавшие деньги, ругались, требовали придачи, пили «магарыч» из ржавой консервной банки и, шатаясь как пьяные, расходились по шатрам, причем каждый считал себя в выигрыше, а других в накладе. В общем, это была настоящая цыганская игра, и взрослые никогда не цыкали на нас и не ругались, что мы-де путаемся под ногами. Бывало, наш конный рынок посещал нарядный пожилой цыган, правая рука атамана табора, и отечески нас поощрял.

Одно лишь казалось мне странным в этом таборе. Уходящий день здесь не провожали ни пением, ни плясками, как то обычно принято у цыган. В таборе Баро Широ не звучала музыка.

Петю мы видели только издали. Однажды он пришел перед обедом в черном цыганском костюме, в плисовой, давленной узорами жилетке нараспашку, неузнаваемо роскошный и чужой. Сбылась его заветная мечта: из одного кармашка в другой по животу Пети тянулась часовая цепочка. Правда, на цепочке висел лишь футляр от часов, (у цыган это называлось «часы без trebuхи»), но разве это важно — цыгане не по часам определяли время.

Сапоги у Пети самые модные, с узкими утиными носами и лакированными голенищами. Таким предстал перед нами Петя, и я вдруг почувствовал, что мне очень легко теперь назвать его «дядей».

Но бабушку не обрадовал Петин вид. Она задрожала, пала на колени:

— Уйдем отсюда, уйдем, соколик!.. Погубят они твою головушку!

Петя ничего не ответил, он вынул из кармана брюк пригоршню монет и побренчал перед моим носом.

Я попросил у него одну маленькую монетку, но Петя сказал, что тратить деньги запрещено, Баро Широ сам каждый вечер проверяет, все ли монеты целы.

Услышав имя Баро Широ, бабушка стала плевать, рвать на себе волосы и целыми клочьями швырять их на землю.

Петя ухмыльнулся довольной и жалкой ухмылкой одуревшего от счастья человека, достал свои «часы без требухи», поглядел на картонный циферблат и вразвалку зашагал прочь.

Кругом нас было много женщин, но они как ни в чем не бывало продолжали спокойно заниматься своим делом. А бабушка не унималась, и мне было очень за нее стыдно. Я просил: «Баба, не надо», — и подбирал пучки ее волос, чтоб ветер не разнес их по всему табору.

И тут перед нами возникла невиданная и дивная, как в сновидении, фигура человека. Могучее туловище с саженым размахом плеч едва держалось на коротеньких гнутых ножках. Но длинные волосатые руки, которыми он касался земли, служили ему подпорками.

Самым поразительным в этом могучем карлике была его голова. Огромная, как котел, в жестких вьющихся волосах, с громадными салазками челюстей и плоским сломанным носом, она казалась вдавленной в грудь и плечи... Глаза его, маленькие и светлые, остро поблескивали в глубоких глазницах. Одно ухо у него было больше другого, остроконечное и длинное, растянутое тяжелой серьгой.

Безошибочным детским инстинктом я сразу догадался, что это и есть Баро Широ. В зубах Баро Широ сжимал трубку, такую же сказочную, как и он сам. Чубук трубки изображал его собственную голову, вырезанную из морской пены с поразительным мастерством.

Баро Широ пыхнул дымом, вынул трубку изо рта и что-то отрывисто сказал бабушке негромким, сиплым голосом. Казалось, звук выходит из его плоского, раздавленного носа. Бабушка глянула на Баро Широ и повалилась лицом в траву. А тот заковылял прочь на своих ногах-коротышках.

В этот день стало известно, что наши парни идут на «дело».

Вечер выдался ветреный. Громко хлопали полотнища шатров, поскрипывали кибитки, словно собираясь в дальний путь, пламя костра не поднималось кверху, длинными языками стелилось по земле, слизывая траву. Наши парни ушли, табор замолк, притаился.

Впервые стало мне здесь смутно и тревожно. Я просил бабушку:

— Уйдем, уйдем отсюда, баба...

— Как же мы бросим нашего Петю, — отвечала бабушка и плакала, плакала. Я чувствовал на губах ее слезы, холодные и соленые.

Я заснул тут же, у костра. И во сне мне было страшно, я звал бабушку, но она не отзывалась. А может быть, мне только снилось, что я ее зову.

Тишину ночи прорезал ужасный вопль. Я проснулся. Окровавленный, растерзанный человек вертелся близ костра, крича: «Убили! Убили!.. Нас убили мужики!..» На его щеке дрожал какой-то круглый студенистый комок — выбитый глаз.

А затем раздался другой крик — высокий, тоскливый, крик насмерть раненного животного. Это кричала бабушка. Она метнулась к раненому и схватила его за рубашку.

— Чяво хасия (Ваш сын убит), — рыдая, произнес тот. Его окружили старые цыгане и куда-то увели.

Весь табор пришел в движение. Свертывались шатры, кто-то распутывал лошадей, сонных детей кидали в кибитки. Испуганные лошади храпели и бились, их силком вталкивали в оглобли; бещено матерясь, затягивали гужи, подпруги.

И тут перед костром появился Баро Широ. Он стоял, раздвинув свои короткие ноги, спокойно разжигал трубку выловленным из костра угольком.

Не знаю, откуда очутился в руке бабушки короткий двулезвый нож. Держа нож в опущенной и напряженной

до дрожи руке, бабушка в два скользящих шага приблизилась к Баро Широ и, занеся руку за левое плечо, натмашь, броском всего тела утяжеляя удар, поразила злодея прямо в его страшное лицо. В самый последний миг Баро Широ сумел прикрыться рукой. Нож, полоснув его бровь, взрезал кисть. Трубка атамана упала в траву. Костяшками пораненных пальцев Баро Широ ударил бабушку в грудь. Это был ужасный удар, но бабушка даже не пошатнулась. Она вновь кинулась на убийцу сына; двое дюжих цыган поспешили ему на выручку. Им удалось обезоружить бабушку, но удержать ее они не смогли.

Я никогда не видел бабушку такой страшной и красивой. Ее седые волосы разметались вокруг смуглого, как-то жестко помолодевшего лица, глаза яростно горели. Хищным, упругим движением вырвалась она из рук цыган и впиалась ногтями в глаза Баро Широ. На помощь атаману подоспел пожилой цыган, заманивший нас в этот табор. Он зацепил бабушкину голову локтевым сгибом руки под челюсть, коленом уперся ей в поясницу и отдрал от Баро Широ.

— Вяжите! — крикнул он другим цыганам, швырнув бабушку на землю, а сам подхватил Баро Широ под мышки и с натугой потащил прочь.

И вмиг все опустело. Только что здесь суетились люди, ржали и рвались в постромах кони, шла жестокая борьба трех мужчин с обезумевшей от горя женщиной, и вдруг — пустота. Разбойный табор словно растаял в ночи. Лишь откуда-то сверху, будто с темного, похожего на застывший дым облака доносился приглушенный топот коней, скрип колес да пощелк бичей. Затем и эти звуки исчезли. Остались: ночь, ветер, дотлевающий костер и распростертая на земле, будто неживая, бабушка.

Весь остаток ночи неумолчно бушевал ветер. Он рвал одежду бабушки и мою рубашонку, но он не дал погаснуть костру, все время подкидывал ему пищу: бумажки, солому, сухую траву. Я умолял бабушку открыть глаза, но она не слушалась, только вздрагивала. А затем ветер умолк, повеяло острым рассветным холодом, и я увидел вытопанную траву, цветные лоскутья, худой чугунок, ржавую консервную банку, из которой мы пили «магарыч» на наших игрушечных торжищах, а чуть поодаль — трубку Баро Широ, оброненную им, когда бабушка

ударил его ножом. Я поднял трубку и плюнул в гнусную рожу злодея. Я плюнул еще и еще раз, приговаривая: «За Петю, за бабушку, за меня». Я обозвал его всеми нехорошими словами, которые только знал. Но я не растоптал трубки, не бросил ее в огонь. Бессознательное ощущение искусства, жившее и в моей маленькой душе, позволило мне отделить предмет изображения от самой вещицы...

— Пить, — услышал я голос бабушки.

Я сунул трубку за пазуху, схватил консервную банку и кинулся к ближайшему болотцу. Но когда я поднес бабушке воду, она как-то неловко потянулась к ней и снова упала навзничь. Все это время руки ее оставались связанными. Я с трудом распутал крепкий узел и швырнул в костер шерстяной пояс. Он сразу занялся и сгорел, и мне показалось, что я уничтожил главный источник нашей беды. Затем я снова поднес банку к губам бабушки.

— Внучек мой! Детка моя! Эту воду нельзя пить, там пугаловки плавают.

Но все-таки она выпила эту плоскую воду и затем еще много раз пила в течение дня, потому что другой воды поблизости не было, а ее мучила жажда. Наверное, от этой воды и завелась в ней хворь.

Есть было нечего. Кругом валялись лишь клочья сена, зерна просыпавшегося из торб овса да картофельные очистки. Я развел огонь и попытался поджарить эти шкурки, насадив их на прутик, но они сразу обуглились.

— Ступай в деревню, — сказала бабушка, — есть же хорошие люди...

Я долго шел по пустынной улице, не решаясь куда-нибудь постучаться. Это была очень богатая, кулацкая станция, но и в ней имелись свои бедняки. Помаленьку я пришел туда, где и хаты поплосше, и плетни пореже, и дым, выходящий из труб, тощ и прозрачен. Цыгане никогда не шли к беднякам. Ведь при всей их склонности к вымогательству они не попрошайки, а торговцы, независимо от того, что они продают: коней, котлы, песни или карточную судьбу. Бедняки — плохие покупатели, и потому цыгане всегда шли к богатым домам. И я, маленький цыганенок, почувствовав запах нужды, хотел повернуть обратно, когда меня окликнула какая-то женщина.

Груботканная застиранная юбка едва держалась на ее плоских бедрах, во рту у нее не хватало нескольких

зубов, там была черная дырка. Из этой дырки вылетали неразборчивые и, как мне показалось, бранные слова. Я хотел обойти стороной эту женщину, но она закричала на меня так громко, что я остановился. У ног ее лежала корзинка с зеленью. Она вынула кочанок капусты и протянула его мне. Но я боялся подойти, я не чувствовал доверия к этой плохо одетой женщине. Тогда она легонько катнула этот кочанок ко мне. «Наверно, хочет меня подманить...» Но я оказался хитрее. Быстро схватив кочанок, я бросился бежать.

Я долго грел на костре и грыз этот кочанок. Бабушка не ела. Она только просила пить, и я послал ей воду.

Так прошли день, ночь, еще день и еще ночь.

Бабушка не вставала и почти не двигалась. Ее полное круглое тело съежилось, странная голубизна разлилась по ее смуглому лицу, очернив сомкнутые похудевшие губы. Глаза бабушки были все время открыты, но она ими словно не видела, а если и видела, то совсем иное, нежели я. Несколько раз она назвала имя Пети, — быть может, ей виделся сын?

Лишь однажды она приподняла голову, маленькую, со склеенными волосами и прилипшими к щекам серьгами, и равнодушно, как заученное, не слыша собственных слов, проговорила:

— Пойди попроси, есть же хорошие люди...

Я не посмел послушаться. Я пошел. Встреча с худой женщиной, давшей мне кочанок, ничему меня не научила. Я снова пошел к богатым.

Меня пустили в один дом. Там сидел толстый дядька в ночной сорочке, прорезанной потонувшими в жире помочами.

Как всегда, начались расспросы: кто да что я. Но теперь я не дал застать себя врасплох. Я ответил ему сказкой, которая кормила нас в дороге, он выслушал и усмехнулся:

— Хитро врешь! Твои родители померли от живота? Ишь подмижуй! Нет, ты плохо врешь. Ты — сын конокрада, вора. Их всех зарыли в глинище.

Он схватил меня за ухо и больно ущипнул. Кликнул детвору: пусть посмотрят, как их батька расправится с грязным цыганенком. Но он скоро устал и препоручил меня детям:

— Дайте ему, чтоб помнил.

Мальчишки потащили меня, награждая пинками. Притащили во двор и спустили собак. Я кинулся за ворота, но собаки сразу меня настигли. Тогда я вспомнил, что спастись можно лишь одним: лечь и не двигаться. Я распластался на земле. Сквозь сощуренные веки я видел крупных, с розовыми, влажными языками псов. Если начнут рвать, подставляю горло, чтоб зря не мучиться. Но собаки обошли вокруг меня, обнюхали и, задрав хвосты, равнодушно пошли прочь. И я понял, что здешние собаки гораздо добрее людей.

Больше я не ходил просить хлеба. У меня осталось лишь одно дело: поддерживать огонь костра. Самое страшное, когда гаснет костер. Непроницаемая мгла охватывает тебя со всех сторон, и кажется, что ты наполовину умер. Но если хоть крошечное пламя бродит по уголькам, то уже не чувствуешь себя таким покинутым и жалким.

Под вечер, когда скотину угоняли из стойбища, расположенного в полуверсте, я собирал коровий помет. За день он успевал высохнуть и неплохо горел. Но я не мог забрать много кизяка зараз, мне приходилось ходить до десяти раз, чтоб запасти топлива на всю ночь. Я надумал стащить плетень, которым было обнесено стойбище. Он весь прогнил, колья едва держались в земле. Когда стемнело, я отправился за ним.

Кажется, я слишком понадеялся на свои силы. Опорный угловой столб, гнилой и трухлявый, скрипел, шатался, но не падал. Тщетно приваливался я к нему спиной, тряс его, словно яблоню в чужом саду, пинал ногами...

Внутри стойбища бледно светлели сухие коровьи блины.

«Черт с ним, с плетнем, наберу-ка лучше кизяку в рубашку, авось на полночи хватит». Но, думая так, я упорно продолжал расшатывать столб.

Было тихо, но не беззвучной тишиной степи; сейчас тишина рождалась из глухих, однообразных звуков.

За моей спиной темнели кусты терновика. Полузасохший терновик шелестел зажестеневшими осенними листьями, скрежетал трущимися друг о дружку сухими ветками, словно кто-то невидимый точил ржавую косу.

При каждом звуке незримого оселка колкий озноб пронизывал мой хребет. Я больно напрягал шею, чтоб не

глядеть в сторону кустов. Но когда столб, внезапно подавшись, с глухим стоном повалился на землю, я не выдержал и оглянулся.

Сухие ветки, торчащие над плотной, сбитой сумраком в одну сплошную массу листвой, то острые, как ножи, то раздвоенные на манер рогатины, представились мне домодельным оружием притаившихся в засаде станичников. Зверская расправа над нашими парнями с ошеломляющей силой вспыхнула в моем мозгу. Я вскрикнул и побежал.

Ветер свистел в ушах, бился в складках рубашки, а мне казалось, что я слышу гул погони, дыхание наступающих меня карателей.

Сперва я устремился в поле, затем круто повернул и кинулся на огонек нашего костра. Едва розовый отсвет пламени коснулся моих ног, как страх улетучился без следа. Я был дома, ведь дом человека — не крыша и четыре стены, а место, где он не одинок перед миром. Родная душа, свет и тепло костра делали для меня домом этот незащищенный клочок степи.

И тут я вспомнил, что вернулся без топлива. Надо идти назад. Но хватит ли у меня храбрости? Если бы бабушка хоть немного ободрила меня, хоть бы отругала. Я подошел к ней, опустил на колени, взял ее за руку:

— Баба, послушай!..

Из ее руки мне в руку струился странный холод. Я тронул ее лицо, шею, потряс за плечо, сначала тихо, осторожно, затем с грубым ожесточением:

— Баба, проснись!..

Бабушка не отзывалась.

И, смутно чувствуя, что эта похожая на бабушку, немая, твердая, ледяная кукла вовсе не бабушка, а настоящая бабушка, с ее добротой, заботой, с ее лаской, слабостью, гневом, оставила меня, скрылась, я закричал в смертной тоске:

— Баба, баба, где ты?..

Я бросился в станицу. Зачем? Я и сам не знаю. Наверное, я подчинялся тому бессознательному чувству, которое движет человеком в беде: быть с людьми. Но когда я оказался среди облитых месяцем спящих мазанок, с окнами, словно в морозной наледи, я вдруг понял, что никому здесь нет дела до того, что рядом в степи умерла старая цыганка.

И, разом обессилев, я свалился у какого-то плетня и заснул. Проснулся я от резкого холода. Рассвет уже наступил, и с ним на землю пал густой, как пар над кипящим молоком, туман. В его плотных клубах исчез весь окрестный мир, и только церковь повисла над туманом со своими куполами и колокольнями.

Молочное месиво не оставалось спокойным: оно клубилось, ворочалось, в нем проступали и таяли какие-то красноватые пятна и слышался странный шум, похожий на топот многих ног. И вдруг один его клуб обернулся плоской бычьей головой с блестящими черными рогами, гладкими и острыми, как ножи, затем появился массивный загорбок с жирной складкой — гигантский бык прошествовал мимо меня, обдав теплым дыханием. Но я даже не посторонился. Я уже знал, что на этой недоброй земле маленькому цыганенку мерещатся странные вещи и лучше не верить своим глазам. А красноватые пятна в тумане набухали, ширились, росли, из них рождались рыжие коровы с влажной шерстью и широкой развилкой рогов, и я услышал голоса женщин, свист и шелк пастушеского бича. Я перестал отличать явь от призраков моего воображения — это было самое настоящее стадо, которое пастух гнал на утренний выпас. Я прижался спиной к плетню, еще немного — и коровы затоптали бы меня...

Следом за стадом вернулся и я в поле. Туман быстро расцеживался, оседая на дно буераков и балок.

Я робко приблизился к тому месту, где лежала бабушка. Глаза ее были открыты, взгляд словно говорил: как мог ты бросить меня одну среди ночи? Стыд душил меня. Опустив голову, я медленно подошел и взял ее руку. Рука была холодная и тяжелая. Бабушка словно второй раз умерла для меня. Я упал ничком на землю и стал плакать, плакать, плакать, все свои детские слезы выплакал у тела бабушки.

Меж тем разгоралось погожее утро. По дороге то и дело проезжали подводы с арбузами, кукурузой, подсолнухами. Поровнявшись с нами, подвода останавливалась, возница подходил и, накрыв нас своей тенью, некоторое время стоял молча, затем спрашивал:

— Кто?

— Баба, — отвечал я.

Следовало протяжное: «А-а!», человек хлопал себя по

голенищу лозой, которой он погонял лошадь, и возвращался к подводе. Ленивое «и-но!» и столь же лепивый скрип трогавшегося с места возка, затем постепенно замирающий скрип колес.

Меня озлобило равнодушие этих людей. И когда теперь меня спрашивали: «Кто?» — я отвечал: «Никто». Молчание, раздумье, затем сочное: «Волчонок!» — и человек шел восвояси. Наверное, я и был похож на ощерившегося волчонка, жаль только, что мог лишь огрызнуться; укусить — не в силах.

Среди дня приехали какие-то толстые, важные люди. Я догадался, что это местные власти. Они тоже постояли над нами, но ничего не спросили. Затем один из них сказал:

— Надо, чтоб Галушка схоронил ее в глинище.

— А хлопца куда? — спросил другой.

— Хлопца в приют.

Это что еще за напасть? Я не знал, что такое «приют», но от здешних людей не ждал для себя добра.

Они ушли, и вновь я остался один. Скрипели колеса подвод, время от времени нас накрывала тень человека и сонным любопытством звучал надоевший вопрос: «Кто?» Я молчал. Тень отступала, удовлетворенная моим молчанием столько же, сколько и прежними ответами.

Солнце сперва грело, затем начало припекать, зазолотив руки и лицо бабушки, потом остыло и, наконец, малиновым шариком покатилося в тучу над краем земли. Близился вечер, а с ним и страх.

Я попытался заплакать, но слез не было. Боль оказалась словно запертой во мне, и, чтоб дать ей исход, я принялся кричать.

— Заткни хлебало! — раздался густой, словно из бочки голос. Я сразу замолчал. Надо мной стоял человек, похожий на гвоздь. Он был так худ, что не отбрасывал тени, лучи уходящего солнца обтекали его тощую фигуру. На длинном загорелом лице чернели провалившиеся глазницы. — Дохнете, — сказал человек, — а мне хоронить!

От него сильно пахло водкой. Я понял, что это и есть Галушка, о котором говорили начальники.

Обочь дороги стояла повозка, на которой возят назем, похожая на гроб без крышки. Галушка нагнулся, поднял тело бабушки, кинул в повозку, повернул ко мне словно незрячее лицо и коротко приказал:

— Седай!

Мы поехали к глинищу. Голова бабушки колотилась в стенку повозки, я подложил руку, чтоб смягчить удары.

— Тпру, дьявол!

Повозка остановилась на самом краю глинистого обрыва. Как же мы стащим туда тело бабушки? Галушка велел мне слезть. Привалившись плечом к повозке, он наклонил ее над обрывом, и тело бабушки полетело в пропасть. Оно ударялось о выступы, подпрыгивало, потом поползло по мягкой глине. Наконец, послышался словно бы всплеск. Галушка швырнул вниз лопату и велел мне следовать за ним.

Когда я достиг дна пропасти, он успел отрыть неглубокую яму. Внизу не было так темно, как я ожидал. Здесь мерцал какой-то зыбкий, неведомо откуда льющийся свет, позволявший видеть тело бабушки, лежащее пичком, и длинную фигуру Галушки, сжимавшего в руках лопату. Далеко вверху, над краем обрыва, виднелась лошадь, казавшаяся отсюда ростом со щенка.

— Я, что ль, за тебя робить буду! — сказал Галушка, нехотя ковыряя землю.

Глина была мягкая. Я набирал ее в горсти и осторожно засыпал бабушку. Разморившийся Галушка вяло ковырял землю лопатой. Было тихо, и в этой тишине мы слышали скрип повозки. Крошечный силуэт коня уж не вырисовывался над вершиной обрыва.

— Тпру! — заорал Галушка, выругался, сунул мне лопату. — Как зароешь, так зараз снеси в хату Цыбуленки, вторая с краю. — Он быстро стал карабкаться вверх, но на полпути обернулся и гаркнул: — Потеряешь лопату, голову оторву!..

Его длинное туловище прозмеилось по стенке обрыва и скрылось за выступом.

Не помню, сколько времени пробыл я в глинище. В ушах у меня шумело, голова кружилась от голода и усталости, а земля, которой я забрасывал могилу бабушки, с каждой лопатой становилась все более тяжелой. Вконец обессилив, я отшвырнул лопату и выбрался наружу. Темно. Лишь на западе небо залито ярко-красным, как будто туда выплеснули ведро крови.

Куда мне податься? В деревню, где бьют, травят собаками? Ни за что. К тому же я оставил внизу лопату. Спускаться за ней у меня нет сил, а Галушка обещал мне

оторвать голову... Я пошел в степь. Я шел и шел, пока не набрел на какой-то стог. Повалился в хрусткую, теплую солому и сразу заснул. Проснулся утром, чувствуя сильное колотье во всем теле. Солома и пустые остистые колосья искололи меня с головы до пят. Стащив с себя рубашку, я почистился, отряхнулся и тут заметил, что у ног моих валяется трубка Баро Широ. Хотя она все время пролежала у меня за пазухой, я совершенно о ней забыл. Отвратительная рожа Баро Широ вызвала во мне такое отвращение, что я ногой далеко отшвырнул от себя трубку.

И все же я не мог расстаться с этой причудливой вещцей. Я поднял ее, обтер подолом рубашки и тут вспомнил слова отчима, что курение утоляет голод. Я набил трубку соломенной трухой и принялся «курить». Я ловко выдувал полону из трубки, как будто пускал клубы дыма. Но на меня это курение произвело прямо обратное действие. Слабый запах хлеба, исходивший от полеры, пробудил во мне зверский голод. Я сунул трубку за пазуху и потащился в станицу, не в ту, что за греблей, а в другую, верстах в пяти.

Малиновый звон колоколов разливался в воздухе. Был воскресный день, и я видел, как тоненькими струйками стекается народ к притвору белой с голубой колокольной церквушки, стоявшей на бугре посреди станицы.

Я ступил на пустынную улицу, полную сладких кухонных запахов. Не все станичники были в церкви, стряпухи занимались своим делом: пекли пироги, блины, оладьи, пампушки для воскресного стола. Нет, голодному человеку нельзя было идти по этой улице. То меня обдавало густым духом пирогов с гречневой кашей, тяжелых, сытных пирогов, так плотно набивающих желудок; то мои ноздри вдыхали чуть кисловатый запах творожных ватрушек — такую ватрушку надо сперва покидать из ладони в ладонь, а потом уж отправить в рот; затем меня долго преследовал маслянистый блинный чад, от которого я избавился, попав в благоухание пирожков с капустой, легких, румяных пирожков, так и тающих на языке.

Не выдержав этой пытки, я подошел к окнам дома, из которых тек нестерпимо манящий аромат жарящихся пирожков. У ярко полыхавшей печи орудовала хозяйка в подоткнутой юбке. Ее голые локти мелькали, ловко

управляясь с ухватами и рогаками. И вдруг я увидел, что у самого окна, на высоком табурете, стоит миска, полная свежесдобитых пирожков, присыпанных муццей.

Я притаился за ставней. Что стоит богатым людям дать пирожок голодному мальчику? Но я не решался попросить: сейчас заругается, а то еще собак напустит. Когда хозяйка всей верхней половиной туловища нырнула в печь за каким-то чугуном, я взял пирожок и сунул его за пазуху, но он обжег меня. Тогда я зажал его под мышкой.

Неужели эти богатые люди обеднеют, если цыганский мальчик возьмет второй пирожок? Я забыл об осторожности, вышел из-за ставни и взял еще пирожок, и еще один, и уже потянулся за четвертым, когда хозяйка вдруг обернулась и гусиным крылом, каким обметают загнеток, ударила меня по руке. В гусином крыле есть мосолок, довольно увесистая косточка. Удар пригвоздил меня к месту.

Хозяйка выскочила из дому, красная, пышущая жаром, сама похожая на хорошо пропеченный пирог, схватила меня за шиворот и потащила.

К тому времени улицы заполнились народом. Служба кончилась, и станичники, приобщившись небесной благодати, расходились по домам вкушать пищи телесной. Ни молитвы, которые они только что возносили, ни предвкушение обильной снеди не мешали им проявить интерес к моей жалкой особе. Они охотно выслушивали крикливые объяснения хозяйки и шли дальше, еще более убежденные в божественной справедливости творца, положившего им — жрать и пить, мне — нести кару.

Доброжелательное любопытство односельчан распалило еще пуще горластую бабу. Преступление мое выросло до чудовищных размеров. Я не только ограбил и чуть не пустил ее по миру, я пытался поджечь хату, угнать коней... И ни у кого не возникло сомнений, по силам ли подобные подвиги восьмилетнему ребенку.

Наконец, мы вошли в какой-то богатый дом, где за длинным столом, просевшим под тяжестью всевозможных кушаний, снала большая семья. Хозяйка толкнула меня вперед и громогласно доложила о моем преступлении, добавив, что, мол, сколько ни бьют цыган, а все мало, надо их истребить подчистую.

Глава семьи, к которому она адресовалась, показался мне знакомым, Я уже видел это сдобное лицо, эти усы, будто обмазанные салом, эти масляные глазки. Не он ли прислал Галушку? Но ведь то было в другой станции. Видно, все эти заевшиеся мордачи были на одно лицо.

Он вынул изо рта ложку, поднес ее к глазам, затем облизал и отложил в сторону.

— Идите к своей печи, Гарпина, — сказал он женщине. — Хлопца мы определим в приют.

Женщина ушла, как мне показалось, недовольная. Верно, она рассчитывала, что меня постигнет более жестокая кара. Из этого я заключил, что приют еще не самое страшное из всего, что могут измыслить эти скорые на расправу люди.

Семья продолжала насыщаться. Я вспомнил о пирожках, которые сумел сохранить, достал их и собрался было закусить. Хозяин молча поднялся из-за стола, выхватил у меня пирожки и швырнул их в поганое ведро. Обтерев руки о штаны, он вернулся к столу.

Когда семья, наконец, отобедала, мне было объявлено, что меня отведут в холодную.

Я робко возразил, что предпочел бы приют. Никто со мной не спорил. Хозяин повернул меня за плечи и, слегка надавав коленкой, выставил за дверь. Тем же способом он препроводил меня во двор. Мы подошли к глухому строению, похожему на амбар. Под стрехой находились два небольших зарешеченных окошечка.

Хозяин порылся в кармане своих широких шаровар, достал связку ключей и отомкнул дверь. Впихнув меня внутрь холодной, он запер дверь и не спеша побрел прочь. Я слышал его затихающие шаги.

Название места моего заключения обещало нечто более зловещее. Я оказался в обычной комнате, только пустой, на полу были накинаны охапки соломы. И здесь ничуть не было холодно. Сквозь маленькие окошечки проникали солнечные лучи, в которых вращалась пыль.

Приглядевшись, я обнаружил, что являюсь не единственным обитателем холодной. В углу, зарывшись в солому, спал долговязый парень лет семнадцати. Он лежал, закинув на лицо руки. Мне были видны лишь его губы, по которым ползала муха, и веснушчатый подбородок.

Муха его щекотала, и он смешно двигал во сне губами. Я подул на муху, ее крылышки раздулись, как юбки богатой барыни в сильный ветер, но она не покинула своей позиции. Верно, парень, поел что-то сладкое, поэтому его губы привлекли муху. Я стал махать рукой над его лицом, но муха упрямылась, и я, войдя в азарт, довольно чувствительно задел щеку парня. Он мгновенно проснулся и сел по-турецки, тараша на меня глаза.

Я попятился. Парень был огненно, немислимо ярко рыж и так конопат, как мне ни разу не доводилось видеть. Он был усеян веснушками разных видов и мастей: по золотистому фону размытых в сплошное поле конопущек была пущена мелкая россыпь темных точек, как будто его спрыснули дегтем сквозь частое сито. За этой пестрядью не было видно черт его лица. Лишь потом, пообвыкнув, я обнаружил, что у него прямой, с легкой горбинкой нос, высокий лоб с двумя буграми, светлые глаза с рыжеватым отливом, который им придавали пушистые рыжие ресницы.

Но то было после. А вначале я просто ослеп, будто взглянул на солнце. За последние дни мне то и дело приходилось сталкиваться с людьми удивительной наружности: Баро Широ, Галушка... Этот тоже был особенным в своем роде, и моя душа, устав от слишком ярких впечатлений, поникла перед этим новым явлением природы.

— Что, нравится моя физика? — спросил парень, потягиваясь и ухмыляясь.

Я не знал, что такое «физика», но по смыслу догадался, о чем он спрашивает, и кивнул головой.

— То-то! — самодовольно сказал он. — Такое, брат, не каждый день встретишь.

Я снова кивнул.

— Ты кто — урка?

Мне очень хотелось ответить утвердительно, но я боялся попасть впросак.

— Н-нет, — произнес я неуверенно.

Он достал ломоть ржаного хлеба и глечик кислого молока. Отдув напáдавших туда мух и соринки, он поднес глечик ко рту, и тут взгляд его случайно упал на меня. Очевидно, он заметил голодный блеск моих глаз. Он отнял глечик ото рта и, пошарив за своим изголовьем, достал большую жестяную кружку без ручки.

Наклонив над ней глечик, он опорожнил его до половины, вопрошающе глянул на меня и, долив еще половину остатка, помедлил, затем решительным движением опорожнил глечик, хлопнув его по донышку.

— Рубай, хлопчик, — указал он на кружку и хлеб и, так как я мешкал, добавил: — Я сытый, тут на харчи не скупятся.

Он сказал неправду. Я это узнал, когда вечером нам принесли ужин: по глечичу молока и куску хлеба. Этого было недостаточно даже для ребенка, тем более для такого здоровенного парня, как мой сосед.

Но тогда я ему поверил. Я съел весь хлеб и выпил все молоко. Он радостно хохотал, глядя, как кислое молоко стекает по моему подбородку за пазуху. А затем вдруг перестал смеяться и сказал с жалостью:

— Экой же ты голодный!

Мое сердце раскрылось этому первому незнакомому человеку, который был по-настоящему добр ко мне. И наружность его уже не подавляла меня. Напротив, было весело смотреть на его пестрое лицо и медные вихры.

Я рассказал ему свою историю. Он слушал, сведя у переносья крутые, красивого рисунка брови.

— Экой махонькой, а сколько пережил! — сказал он, когда я закончил рассказ. — Разве можно так с ребенком!.. — И еще он сказал, погрозив кому-то незримому кулаком: — Ах, сволочи, сволочи!..

Подумав, я решил, что последнее его восклицание относится ко всем людям, которые были злы ко мне, и, окончательно осмелев, спросил, за что он попал в холодную.

— Сволочь одну убил, — спокойно ответил мой новый друг.

— Уби-ил?! -

— Понимаешь, хлопчик, батрачил я тут у одного кулачины. Живоглот — не приведи господи! Зашел я как-то в амбар, грабли взять, а он об тот час вел расчет с Гапчой, батрачкой, годов тринадцати. Она всю работу по дому справляла: и полы мыла, и дрова колола, и гусей пасла, и воду таскала. А он надул ее. Она плачет, бедная, просит, чтобы он ей отдал, что по уговору следует. А он... он, гадюка подлая, поглумиться над ней вздумал. «Отдам, — говорит, — коли ты...» Ну, да ты мал еще такие подлости понимать.

Но я, цыганский мальчик, хорошо понял то, чего не досказал мой друг.

— Стоит она и колтыхается, как под ветром, и лицо ладошками закрыла. Я говорю: «Уйди, Федор Васильич, уйди по-хорошему», а у самого зуб об зуб точится. Вижу, что и он уже не в себе. И как он кинулся на меня, схватил я железную меру, какой он ей пшеницу отмерял, да и трахнул его по башке...

— Убил?

— Не насмерть. Он мужик здоровенный. Выжил. Только с постели уж не вставал.

— А тебя — в холодную?

— Опять же нет. Не позволил он. Такой, понимаешь, жадный черт. Для него — наперво выгода, заставил меня за одни харчи работать. Ну, я и вкалывал, покамест он не подох. Тут меня и забрали в холодную, а скоро в настоящую тюрьму повезут, — закончил он чуть ли не с гордостью.

— А не боишься?

— Чего бояться? Я убегу.

— Как же ты убежишь?

— Очень даже просто. Как в тюрьму повезут, так и убегу. Я, братик, к красным конникам подамся. Буду с ними все кулачье, всех буржуев рубать.

— Это кто же тебе позволит?

— Как кто позволит? Тут и позволения никакого не надо. Взял шашку вострую, сел на лихого коня и пошел рубать. — Он вскочил и принялся резать воздух воображаемой шашкой, что-то выкрикивая и жарко сверкая глазами.

— А кто такие красные конники? — спросил я.

Он сразу перестал размахивать руками и вытаращил на меня глаза, будто я сморозил невесть какую глупость. Но уже через несколько минут ему открылась вся глубина моего неведения.

То, что было известно любому мальчику моих лет, никогда не покидавшему свой дом где-нибудь на берегах Байкала или в самой глухой деревушке Поволжья, было совершенно неведомо мне, цыганенку, исколесившему не одну тысячу верст. Впервые услышал я от него, что такое Октябрьская революция, гражданская война, Красная Армия.

А ведь я видел следы недавних боев, я слышал запах

спаленных селений — едкий запах войны, наконец я не раз слышал и самое слово «война». Да, все это так. Но я считал, что война — явление такого же порядка, как гроза или ураган.

Горячие, сумбурные и странно-убедительные речи моего нового знакомого заставили меня по-новому осознать все виденное и пережитое.

Я понял, что люди делятся не на цыган — хороших и всех остальных — плохих. Ведь я видел цыган-разбойников в таборе Баро Широ, пославших на гибель своих же соплеменников, видел добрых украинцев и русских: шахтеров, от которых мы не слышали слова отказа, когда шли их черной от угля землей; женщину, почти насильно заставившую меня принять кочанок капусты; наконец, этого рыжего друга, уступившего мне свой обед, приласкавшего, ободрившего меня. Все эти люди, дававшие, ничего не требуя в замен — ни ворожбы, ни песни, ни жалостливой лжи, — были бедняками. Значит, мир делится не на цыган и не цыган, а на бедных и богатых. Впервые осознал я братство бедных людей. И еще я понял, что бедняки восстали против богачей, но те не хотят лишаться власти и пошли на них войной. Но сколько бы богачи ни ярлись, все равно им будет крышка.

Позже, засыпая, я рисовал себе то чудесное будущее, которое настанет для цыган, когда победят бедные люди. Я представлял себе, что краду пирожок и никто не бьет меня по руке, хозяйка ласково улыбается и грозит пальцем; я представлял себе, что цыган никто не гонит, их принимают, как добрых гостей, щедро одаривают, и даже если случится табору на прощание прихватить чужих коней, то и тогда с ними поступают милостливо и благодушно.

Но рыжий друг, с которым я наутро поделился своими мечтами, только посмеялся:

— Эх ты, недотепа! Тогда и воровать никто не станет — мы же сами будем хозяевами на земле, а у себя кто сворует?

Это рассуждение было темно для меня, но я не успел получить разъяснений. Дверь распахнулась. Я думал — нам принесли еду. Нет, пришли за моим другом.

Все обмерло во мне. Я никогда не испытывал такого странного, щемящего чувства. Когда я потерял бабушку,

во мне сильнее всего был страх за самого себя, а сейчас... сейчас мне мучительно больно было за моего товарища. Я впервые узнал, что любовь к чужой жизни может быть сильнее любви к жизни своей.

Он положил мне на плечи свои большие сильные руки:

— Ну, братик, иду искать свою правду. А ты не поддавайся, ты держись, стисни зубы и держись. И твоя правда придет, обязательно придет. Ну, прощай! — он наклонился и щекой прижался к моей щеке.

Я молчал, бессильный выразить то, что захватило меня с такой непонятной силой.

Он уже подходил к двери, когда я вспомнил о своем единственном сокровище — трубке Баро Шыро. Я подбежал к нему:

— На, возьми!

— Ого! — воскликнул он, с восхищением разглядывая трубку. — Ну и образина!

— Баро Шыро...

— Вот он каков, голубчик! А вещь, видать, ценная. Ты ее, как худо будет, загони, — большие деньги возьми.

— Нет, тебе... моя... тебе, — лепетал я, вдруг растеряв все русские слова.

— Ну, что ты! — он покраснел так, что лицо его стало одного тона с волосами. — Я ж не курю, чудачок. — Затем тихо: — Ну, спасибо, братик... — Он оглядел себя, даже ошупал руками в тщетной надежде подарить мне что-нибудь взамен. Вдохнул, улыбнулся и сунул трубку в карман.

— Скоро ты, что ли? — послышался ленивый голос.

— Прощай, братик!.. — В последний раз полыхнул для меня рыжий факел его головы, хлопнула дверь, и в комнате, именуемой холодной, как будто погас свет.

Я лег на подстилку, в которой осталась теплая вдавлина от его тела, и забылся в новой, неведанной прежде тоске...

Я прожил в станице без малого месяц, батрача у того самого важного человека, который поместил меня в холодную, но мне так и не удалось разузнать что-либо о судьбе друга. А затем меня разыскала мать и увезла с собой...

Когда-нибудь я расскажу, как нашел правду, о кото-

рой говорил рыжий парень, я не один я, а все мое бродячее племя. Мы шли к ней не прямо и не скоро, путаными колеями цыганских кочевий, нередко в свой собственный след, а след этот, как известно, никуда не ведет. Неяркое пламя степных костров освещало наш путь через леса и реки, холмы и долины, мимо сел, станиц, городов. Мимо! Цыгане появлялись в деревнях и в городах — табор шел мимо. Но великий свет, озаривший всю Советскую страну, не дал нам пройти мимо нашей правды.

Мы нашли ее в глубине Смоленщины, в первом цыганском колхозе. Я расскажу, как появилось у цыган чувство родины, чувство места и сознание, что земля, которую мы столько лет равнодушно попирали ногами и колесами кибиток, — кормилица и поилица, источник жизни и счастья.

Моя жизнь в ту пору ничем не отличалась от жизни любого колхозного паренька. Я окончил школу-семилетку и, поскольку во мне обнаружили актерские способности, был направлен колхозом в театральное училище, подобно тому как других моих сверстников посылали учиться на агрономов, врачей, зоотехников, ветеринаров.

К началу войны я уже был актером одного из столичных театров. А в апреле 1942 года, в пору, с которой вновь начинаю свой рассказ, я носил звание старшего сержанта пулеметного расчета.

Наша часть занимала оборону на берегу большой северной реки. За нами находился великий город революции, перед нами — островок, занятый неприятелем.

Этот клочок суши, как бы впаянный в лед, мы называли «Чертовым островом», противники — «Проклятым». Этот островок нам страшно мешал. Оттуда просматривался не только наш передний край, но и ближние тылы. По его вине у нас случались перебои с боепитанием и продовольствием. Две наши попытки выбить гитлеровцев ни к чему не привели. Впоследствии мы узнали причину такой стойкости. Тем солдатам, которые продержатся на островке две недели, немецкое командование предоставляло внеочередной отпуск на родину. Едва ли многим довелось заслужить этот отпуск, но надежда поддерживала солдат...

Мы ждали, когда нам вновь прикажут отбить остров. Командование не торопилось, оно копило огневые сред-

ства. Наконец, этот день настал. В течение двух часов над островком вздымались фонтаны земли, снега, битого кирпича, обломков дерева и металла. Но едва мы ступили на лед, нас встретил кинжальный огонь противника. И все же на этот раз мы приступом взяли «Чертов остров».

Многие бойцы и командиры, принимавшие участие в боях за остров, были награждены орденами и медалями.

Вручение наград происходило в подвале старой, еще аракчеевских времен казармы, где расположился штаб нашей дивизии. Там я впервые близко увидел многих больших командиров, в их числе командующего артиллерией фронта, прославленного генерал-лейтенанта Е. Он сказал нам слово благодарности, и мы поняли, что сделанное нами важно не только для нашей части, нашего полка, дивизии, но и для всего фронта, для великого города.

Сказав свое краткое слово, генерал-лейтенант Е. ступил в сторону и вынул из кармана трубку. Он набил ее табаком, примял табак большим пальцем, не спеша, со вкусом разжег и пустил голубое облако. И с этим облаком душа моя улетела в сновидение.

Мое страшное, мое поруганное, мое бедное и все же дорогое детство глянуло на меня сказочными очами Баро Шыро. В руке генерал-лейтенанта Е. была трубка Баро Шыро, моя трубка, которую я подарил рыжему парню. Я не сомневался в том, что другой такой трубки нет на свете. То была штучная работа, выполненная искусным мастером по заказу вождя разбойничьего табора, пожелавшего увековечить свой страшный и диковинный лик.

Но как попала она в руки генералу? Я впился в него глазами. Генеральская фуражка позволяла видеть серебристые виски; его точеный, словно на монете выбитый профиль ничем не напоминал знакомого моих детских лет, и главное — кожа его засмугленного зимним солнцем и ветром лица была совершенно чиста. Время могло изменить черты, обесцветить волосы, но не могло же оно так потушить все краски этого единственного в своем роде лица. Я понял всю нелепость своей мысли: что может быть общего у заслуженного боевого генерала с батрачком, отдавшим мне в деревенской тюрьме ломсть хлеба

и кринку кислого молока? Но желание узнать, как пала к генералу трубка, не стало оттого меньше.

Я с новой силой ощутил, как дорог мне этот далекий друг, впервые открывший мне доброту широкого мира, заронивший в мою детскую душу мечту о большой человеческой правде. Быть может, эта трубка позволит мне узнать о его судьбе. Но не мог же я, старший сержант, спросить генерала: «Товарищ генерал-лейтенант, откуда у вас эта трубка?»

Когда я вернулся в часть, товарищи обратили внимание на мою задумчивость и, как полагается, принялись строить различные догадки на мой счет, а командир взвода лейтенант Гриценко участливо спросил:

— Что, товарищ мой, не весел, что головушку повесил?

Как-то в одну из белых ночей, когда не спалось, я рассказал товарищам историю своих детских странствий, и сейчас мне не нужно было тратить много слов, чтоб объяснить командиру, что со мной.

— Дело серьезное, — сказал Гриценко, — тебе надо увидаться с генералом. Да не качай головой, я это тебе устрою.

Но мне не повезло: в ту же ночь генерал-лейтенант Е. отбыл из расположения дивизии. А затем начались тяжелые бои, и я, признаться, решил, что так и не узнаю истории трубки. Но однажды, когда я уже совсем перестал ждать, в землянку вбежал Гриценко и сказал:

— Собирайся, Нарожный, пойдем к товарищу генерал-лейтенанту. Адъютант устроил...

— Прямо сейчас? — спросил я испуганно, потому что не мыслил явиться в таком виде к генералу. Мы только что вышли из боя, и я выглядел отнюдь не щеголем.

Гриценко взглянул на часы.

— В семнадцать ноль-ноль, в твоём распоряжении почти целый час.

Товарищи помогли мне в сборах. Мы натаскали снега и выстирали чьи-то наименее потрепанные шаровары и гимнастерку. Пока их сушили над огнем, я побрился, начистил сапоги. Затем подшил чистый подворотничок и натянул на себя еще влажное обмундирование. Гриценко сам прикрепил мне на грудь Красную Звезду.

...Генерал-лейтенант Е. сидел на лавке у крестьянского обеденного стола, заваленного картами и бумагами, и читал книгу. Мне был виден аккуратный пробор, наискось деливший его гладко причесанные седые волосы. В левой руке генерал сжимал потухшую трубку, и маленькие глазки Баро Широ как будто силились прочесть условные знаки стратегической карты, на которой лежала рука генерала.

И мне показалось святотатственным вторгаться в сосредоточенный покой этого человека. Тихим, неуверенным голосом произнес я положенные по уставу слова. Генерал захлопнул и отложил книгу.

— Выкладывайте ваше дело, товарищ старший сержант, — сказал он и привычным движением полез за кистетом.

Я как зачарованный следил за его движениями. Я заметил, что мундштук у трубки новый, верно она побывала в переделках, но вообще ее берегли: трубка в полной сохранности, края гладкие, не изъеденные табаком. Прежде чем закурить, генерал продул и выбил трубку, затем чиркнул зажигалкой и глубоко затянулся.

— Ну, что же вы... давайте... — Сквозь равнодушные его тона проглянуло нетерпение.

Я подыскивал слова, чтоб облечь свой вопрос в наиболее деликатную форму, но ничего не нашел и неожиданно для самого себя выпалил:

— Товарищ генерал-лейтенант, откуда у вас эта трубка?

Он вскинул ресницы, седые, с желтоватыми кончиками, вынул трубку изо рта. Я чувствовал по его взгляду, что он отыскивает меня в своей памяти, пытаюсь найти разгадку моего странного вопроса. Но, видимо, усилия его оказались тщетны. Он придавил обмозолевшим большим пальцем огонек в трубке и сухомерно спросил:

— А вам, собственно, зачем это требуется?

Я молчал, как-то вдруг обессилев перед загадкой, загаданной мне жизнью. Не дождавшись ответа и даже не заметив этого, он поглядел на трубку тем взглядом, каким смотрят на привычную вещь, таящую в себе остроту старых воспоминаний, и задумчиво, словно для себя, сказал:

— С этой трубкой связана целая история...

— Да... да... история... — как эхо, повторил я.

Генерал снова взглянул на меня, он взял меня на мушку, как снайпер — цель.

— Эту трубку, — продолжал он, — много лет назад мне подарил маленький несчастный цыганенок.

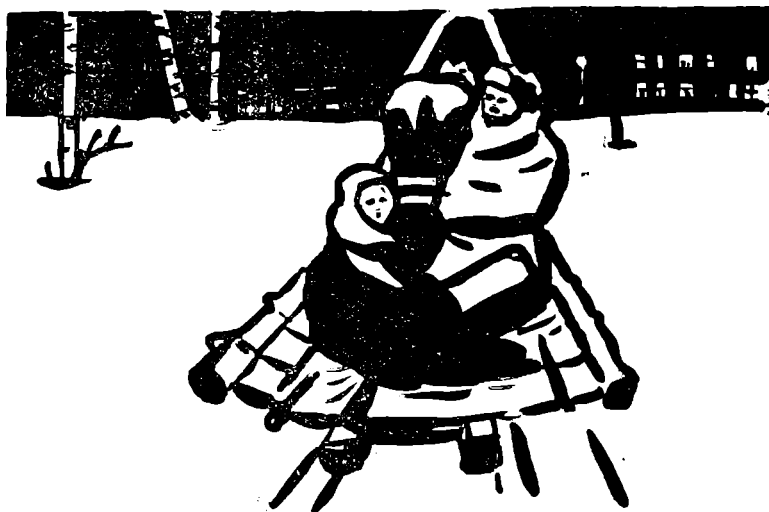
— Под Мелитополем... в холодной...

Мне казалось, я теряю равновесие, и бессознательно шагнул вперед.

Скрипнула лавка, генерал-лейтенант резко поднялся из-за стола. Кровь отхлынула от его лица, как бы унеся с собой бурый налет загара, и на побледневшей коже отчетливо и ясно проступили рыжие пятнышки веснушек.

— Братик... — сказал генерал-лейтенант.





СЛЕЗАЙ, ПРИЕХАЛИ...

Около восьми часов утра в пустынной приемной директора Замостьевской МТС сидел пожилой человек с бурым от зимнего загара, худым, морщинистым лицом. На нем был черный, пробелевший в проймах нагольный полушубок, ватные штаны и валенки в самодельных калошах из автомобильной камеры. За поясом — старым солдатским ремнем — торчал кнут с новым кленовым кнутовищем. Человек сидел в кресле на самом краешке, упершись руками в колени; рядом с ним на полу лежали старая шапка с вытертой лисьей опушкой и большие брезентовые рукавицы. Достаточно было беглого взгляда, чтобы сразу угадать в нем ездового. Да, Сергей Данилович Марушкин работал ездовым Замостьевской МТС, расположенной в маленьком районном городке.

Кроме ездового, в приемной за столом, уставленным телефонами, сидела молодая женщина в кокетливой шелковой кофточке и больших валенках, секретарь директора Марина Петровна. Она что-то быстро-быстро писала, уронив на бумагу густую прядь волос. Ездовой не раз с тоской взглядывал на секретаря, видимо желая о чем-то спросить, но не решаясь оторвать ее от работы. Наконец, он не выдержал:

— А не скажешь ли, Марина, что это я нынче ни свет ни заря понадобился?

— Агроном из Москвы прибыл, в колхоз повезете.

— Агроном — это хорошо! — одобрил ездовой.

Марина подняла голову, как-то разом утратив интерес к тому занятию, которому только что самозабвенно предавалась.

— Девчонка, от горшка два вершка! Видать, только институт кончила.

— Ну, это ты зря, Марина, — строго сказал ездовой. — Знаешь поговорку: мал золотник, да дорог... Куда же мне ее везть?

— Не знаю, мне не докладывают, — отрезала Марина.

Ездовой вздохнул и отвернулся к окну. На дворе медленно расцеживалась ночная мгла, переходя в сумеречное, пепельное утро. Как будто без зари, без солнечного восхода рождался из ночи хмурый февральский денек. Но, проглянув привычным взглядом даль меж городских построек, ездовой увидел, что над черной полоской леса мгlistое небо чуть тронуту желтизной, будто мазнули кисточкой.

Он еще подвинулся к окну и увидел двор и свою лошадь, впряженную в розвальни. Ладный меринок с гладким, сытым крупом в колечках влажной шерсти пытался ухватить зубами обросшую ледком стойку крыльца.

— Балуй, чтоб тебя! — любовно выругался ездовой, как-то не сообразив, что меринок не может его услышать, зато отлично слышит Марина. Его дубленое лицо стало цветом в медь: искоса, одним глазом глянул он в сторону секретарши, но Марина, по счастью, вышла из приемной.

В глубине двора стояла эмтеэсовская «победа» с сопревшим брезентовым верхом, до самой крыши облипшая снегом.

«Значит, со станции агронома на «победе» доставили, — подумал ездовой. — Ну, а в колхоз-то после вчераш-

него снегопада разве на ней проедешь? Дудки! Тут четырехногого вездехода подавай!»

— А куда, интересно, ее направят? Скорей всего к петровцам, им без специалиста зарез...А может, в «Богатырь»? Ихний председатель давеча шумел насчет агронома... — По привычке пожилых одиноких людей ездовой не заметил, как стал размышлять вслух. — В Стрельникове и Двориках тоже агронома ждут... Ей-то, конечно, в «Богатырь» интересней. Там и клуб и житуха поважней...

— Только председатель ой-ой! При нем не разгуляешься! — произнесла за его спиной Марина.

— А у тебя одни гулянки в голове, — через плечо сказал ездовой.

Марина не успела ответить. Дверь, ведущая в кабинет, распахнулась, и показался директор МТС Окуничков в сопровождении маленькой девушки в городской шубке с серым барашковым воротником и такой же шапочке. Изпод шапочки на лоб, на круглые румяные щеки выбивались тонкие светлые волосы. В руке она держала чемодан с привязанной к ручке авоськой, набитой какой-то снедью.

У Окуничкова за последние горячие месяцы появилась новая привычка: он, словно конь, наскочивший на препятствие, то и дело закидывал голову назад и немного вбок. Так и сейчас, поздоровавшись, он кивнул головой и сказал:

— Вот, Сергей Данилыч, отвезешь товарища агронома в Петровское, в колхоз имени «Первого мая», да! — Он снова мотнул головой и добавил с улыбкой: — Только вези поаккуратней. Ну, счастливо вам устроиться! — обратился он к агроному. — Если что — связывайтесь прямо со мной.

Окуничков протянул девушке руку, та подала свою и быстро отдернула, точно боясь, что директор причинит ей боль.

Пока Окуничков говорил, ездовой со смешанным чувством симпатии и жалости разглядывал агронома. Ей можно было дать лет шестнадцать — семнадцать. И вообще-то птичка-невеличка, она рядом с крупной Мариной казалась совсем крошечной. Серые хмуроватые глаза и надутые пухлые губы придавали ей вид девочки-буки. В легкой шубке, шелковых чулках и отороченных мехом ботинках она выглядела совсем неприспособленной к суровому февральскому простору Замостьевской глубинки.

«Будто на прогулку оделась, дите малое!» — с насмешливой нежностью подумал ездовой и обрадовался, что захватил овчинный тулуп, а в розвальни напихал чуть не воз соломы.

Они вышли на улицу.

— Прошу! — сказал ездовой. — Саночки неказисты, зато по нашим дорогам в самый раз.

И когда девушка уселась, он закутал ее в тулуп, подоткнул полу ей под ноги, обложил соломой. Хозяиствуя так, ездовой коснулся ее холодных ножек, и сердце его облилось давно забытой да лишь в мыслях изведанной отцовской нежностью. «Ведь и у меня такая могла быть, не помри Марья Власьевна двадцать два года назад», — подумал ездовой.

— Ну как, тепло? — спросил он вслух, а про себя добавил — «дочка».

— Ничего, — низким, как у обиженных детей, голосом произнесла девушка.

— Н-но, мила-а-ай! — пропел ездовой и странно неловко после всех своих ладных движений боком упал в сани. Левая нога его деревянно выпрямилась из саней, и стало видно, что это протез...

Запущенная недавним снегом дорога была почти не приметна на снежной равнине. Но меринок, чувствуя под копытом, целиком уходящим в снег, твердый наст, бежал уверенной, ходкой рысью. Однообразный, унылый в бесцветье дня простор окружал путников. И по правую и по левую руку от них разворачивались ровные поля. Лишь бегущие цепочкой телеграфные столбы, то высокие, в полный рост, то коротенькие, чуть не до проволоки ушедшие в снег, говорили о том, что под навалом снега равнину пересекают где балки, а где небольшие всхолмья. Порой мимо проплывали редкие перелески и вдруг скрывались из виду, будто таяли в тусклом мерцающем свете дня.

Долгое молчание утомило ездowego, он повернулся к закутанной в тулуп неподвижной фигуре.

— Из Москвы, значит? — спросил он и подмигнул девушке, словно намекая на какое-то тонкое, им двоим известное обстоятельство.

Верно, она не была расположена к разговору, а в глубоком воротнике тулупа не видно кивка, но ездовой угадал «да» по движению длинных ресниц.

— Вы это как, позвольте спросить, по разверстке или добровольно?

— Добровольно! Или клади билет на стол, или добровольно, — тихо, сумрачно донеслось из пещеры воротника.

Ездовой то ли не понял ответа, то ли услышал в нем то, что хотел услышать.

— Хорошее дело! Обживетесь у нас — домой не потянет!

Девушка промолчала.

Сани, легонько покачиваясь, плыли по белому, ни конца ни краю, снежному морю.

— Как пусто здесь, голо... — тихо, словно для себя проговорила девушка.

— Так то зимой! — встрепенулся ездовой. — Посмотрели бы летом — ковер! Тут у нас как раз луга Стрельниковского колхоза, а в старое время одна болотная топь была. Хорошая трава только по обочинам да кой-где под кусточками росла... — Тыкая кнутовищем то вправо, то влево, ездовой принялся рассказывать, где какие лежат земли, угодья, владенья и почему у одних хозяев дело спорится, а у других вразлад пошло.

— Вы местный? — прервала его девушка.

— А то как же? — чему-то обрадовался ездовой. — Самый что ни на есть местный! Тут родился, тут всю жизнь прожил, тут и в войну партизанил и ногу свою схоронил. — Он повел кнутовищем за поля, на черный валик леса, обрамлявший равнину, и уселся поудобнее, готовый к неизбежным в таких случаях расспросам, но девушка вновь замолкла.

Ездовому было немного обидно, что родной его край предстал перед москвичкой в таком невыгодном свете. Сам он никак не ощущал эту землю пустой и голой, каждый ее клочок был связан для него с какими-нибудь воспоминаниями, с чем-то милым или грустным, добрым или печальным. Но как поведать об этом ей?..

Будь она мужчиной, ездовому было бы легче. Он мог бы рассказать ей вон о тех чуть темнеющих вдали камышах Пучкова болота, где по осени с ружьем да резиновой лодочкой за одно утро набьешь десяток чирков. А за Пучковым болотом — невидное под снегом Сватеево озеро. Да бывают ли где такие уловы карасей и карпов! А богатейшая охота в том дальнем лесу, едва выступающем

над краем земли: и птица всякая и зверь мелкий и крупный!..

Будь она мужчиной, ездовой рассказал бы о том, как на опушке этого леса в памятном сорок третьем году горстка партизан держала оборону против батальона немцев, и сколько хороших товарищей схоронено там, под усыпанным хвоей дерном, и там же спит его добрая, живая, теплая нога. Но ни к чему все эти рассказы молодой девочке. Ездовой вздохнул и произнес вслух:

— Места у нас грибные, ягодные...

Все еще думая о своем, он сказал эти слова безотчетно и услышал их как бы потом, они показались ему бедными и жалкими. И он усмехнулся над собой, старый человек, и быстрее погнал коня. Дорога пошла под уклон, затем, круто изогнувшись мимо еще закрытой чайной, взбежала на новый железный мост через Ворицу. Ездовой придержал меринка.

Живая голубизна проточила серую хмарь неба, и слабый солнечный свет подзолотил снега, зажег крест на колокольне старой церкви, стоявшей над обрывом другого, высокого берега реки. Ложе Ворицы не было заснежено, его постоянно обдували оскользящие с кручи ветры, ясно и чисто сверкал зеленоватый лед. Близ одного из быков моста чернела огромная прорубь, уже подернутая игольчатым льдом. Несколько человек в ватных куртках и штанах тащили из проруби ровно вырубленную глыбину льда. Глыбина ворочалась, показывая из воды толстенные, голубоватые бока. Люди то в лад тянули льдину, выпевая что-то, то вдруг начинали суетиться, размахивать руками и громко ругаться; затем они вновь тянули, подталкивая ломami тяжелую ледяную плиту.

Немного отступя от проруби, высился штабель ровных кубических глыб, и, держа путь на этот штабель, надсадно воя, пробивался по берегу грузовик. Колеса то и дело буксовали в глубоком рыхлом снегу, водитель выскакивал из кабины, швырял под колеса рваный полушубок, затем, раскачав машину, прорывался на несколько метров вперед и снова тонул в снегу.

— К чему все это? — зябко поежившись, сказала девушка.

— Как это к чему? — засмеялся ездовой. — Лед заготавливают.

— Ведь холодно им! — Испуг прозвучал в ее тихом голосе.

— Чего там! Народ от холодной закалки только крепче становится. — Ездовому показалось, что он сказал что-то очень складное, он улыбнулся, и от этой довольной, доброй улыбки лицо его даже несколько разгладилось, морщины сбежали на лоб и к углам глаз.

Дорога за мостом пошла круто в гору, и меринок совсем сбавил шаг, но ездовой не стал его погонять: уж больно хорош открывался отсюда вид. Хороша была светлая льдистая Ворица в поросших темной сосной берегах; хороша была и горка с церквушкой, спустившей свою голубую тень до самой реки, и даже песчаный, удивительно рыжий карьер, открывшийся за мостом, тоже был хорош. Застенчивое чувство мешало ездовому спросить: «Ну, каково?» Но он и так был уверен, что не может человеческое сердце остаться глухим к этой извечной, милой, простой русской красе. Но вот карьер скрыл ложе реки, дорога вновь пошла ровным полем, и впереди черным пятном возникла деревушка.

Деревушка стояла на взлобке косогора, над ручьем. По заснеженному ложу тянулась черная ниточка живой воды, ручей был теплый, незамерзающий. Окраинные дома и риги лепились низко по откосу, и казалось — деревенька сползает к ручью.

— Н-но, резва-а-ай! — гаркнул ездовой, приподнявшись в санях.

И послушный меринок заскакал каким-то странным, козлиным галопом. Промелькнуло скромное деревенское кладбище, обросший льдом сруб колодца с длинной ногой журавля, и мимо побежали темные избы небольшой, в одну улицу, деревни.

Въезд получился хоть куда. Народу на улице было, как в праздник. Стар и млад провожали взглядом лихие сани. Жаль, не пришлось осадить у самого крыльца правления, — ездовой еще издали приметил крупную фигуру председателя колхоза Жгутова.

Андрей Матвеевич Жгутов, восемнадцатый председатель Петровского колхоза, стоя посреди дороги, беседовал с группой колхозников. Трудно быть восемнадцатым. С одной стороны, велика цифра, тяжело знать, что столько людей уже сложили голову на твоей должности. А вместе — хоть и велика, да не кругла, все кажется, что быть

и девятнадцатому и двадцатому. Может, оттого и казался Андрей Жгутов, мужчина крупный и статный, с черной, словно налакированной щетиной на сытом, румяном лице, то ли робким, то ли смиренным.

— Здорово, Матвейч, принимай гостей! — закричал ездовой, натянув поводья, и саней будто вмерзли в землю перед председателем.

Жгутов поздоровался, приподняв шапку, что-то сказал своим собеседникам и не спеша, с какой-то слабой, неразвернутой улыбкой на сухих, лиловых губах подошел к саням.

— Вот агронома к вам привез, товарищ прямо из Москвы, — гордясь, сообщил ездовой. — Просим любить и жаловать.

Кивая головой и улыбаясь своей слабой улыбкой, Жгутов сверху вниз смотрел на агронома и не знал, что сказать. Наконец, он нашелся:

— Добро пожаловать! — и потянулся за чемоданом.

Но девушка не дала ему чемодан; крепко держа его за ручку, она выскочила из саней и быстрой походкой, вперед председателя, засеменила к правлению.

А ездовой привязал меринка к крыльцу и подошел к колхозникам. Народ все был ему хорошо знакомый, впрочем как и повсюду в районе.

— Что это Жгутов у вас недоваренный какой-то? — спросил, поздоровавшись, ездовой. — В бригадах он побойчее казался.

— Да нет, мужик добрый, только трудно ему, — отозвался счетовод. — А ты кого это привез? Не газетчика ли? Сейчас повелось о плохих колхозах писать. — Счетовод хрипло засмеялся, обронив с губы недокуренную папироску.

— Агронома я привез...

— А не брешешь? — вскричал бригадир полеводов, худой, согнутый в плечах. — Эх, мил друг, нам агроном во как нужен! — Он провел ребром ладони по горлу. — А агроном-то стоящий?

— В Москве в институте училась!

Событие решили отметить. В маленькой дымной чайной ездowego угостили водкой, и он, раскиснув от угощения и общего внимания, наговорил лишнего, прихвастнул, будто это он уговорил директора МТС направить агронома к петровцам. И хотя все знали, что это не-

правда, никто не мешал ездovому врать, понимая, что врет он от доброго сердца.

Когда ездовой вернулся к саням, на дверях правления висел замок. Значит, председатель повел агронома устраниваться на жительство. Выходит, и ездovому можно отпавляться восвояси. Но ездovому жалко было так вот расстаться с «дочкой». Да и Окуничков, верно, спросит: как, мол, устроили москвичку? А ездовой уже выяснил, что жильё для агронома только начали строить, дома же для приезжих в Петровском отродясь не бывало.

Ездовой прополоскал рот морозным воздухом и направился к дому председателя, стоявшему наискосок через дорогу. «Дочка» сидела за крытым клеенкой столом в чистой горнице, спиной к маленькому окошку, заставленному горшочками с резедой. Перед ней стояли кринка с топленным молоком и граненый стакан. На верхней губе девушки, заходя на розовые пухлые щеки, отпечатались молочные усы. Ездовой заметил короткий лучик радости, мелькнувший в глазах девушки при его появлении, и умилился.

— Ну как, устроились? — бодро проговорил он, обводя взглядом скромное жилище председателя. Тут было и тесновато и душновато, пахло густо и несвежо, по стенам стояли нестроганные лавки, табуретки, комод под красное дерево. На комодe фотографии, стаканчики цветного стекла и коробки из ракушек; на стенах тоже фотографии, отрывной календарь, барометр и засиженная мухами, невесть когда и за что полученная похвальная грамота. Была, конечно, и большая никелированная пышно застланная кровать «самих» и две деревянные кровати для многочисленных чад — сейчас они все помещались на печке, откуда рассматривали агронома с небидным в своей полной откровенности любопытством.

На вопрос ездovого ответ последовал с кухни, где председателя жена стирала белье, — из-за края печи виднелся угол цинкового корыта с шапкой мыльной пены.

— Поживут покуда у нас, мы им угол освободим.

— А может, к Арсенихе лучше? — спросил ездовой.

— Чем же это лучше? У нас по крайности груднят нету.

— Это правильно, — согласился ездовой и посмотрел на девушку, желая знать ее мнение, но она молчала, будто разговор ее не касался.

— Обижается товарищ агроном, что клуба нет, — тихо сказал председатель, — кино не показываем... со светом вот тоже. — Он вдруг умолк и молчал долго, чуть не целую минуту, затем вздохнул и сказал строго и серьезно: — Верно это, скучно у нас молодежи, скучно...

— Так надо сделать, чтобы весело было, — тоже строго сказал ездовой.

— Надо, конечное дело. Будем с хлебом — все у нас будет. А пока, видишь, не можем даже как следует человека принять. Есть решение к февралю дом для агронома построить, а покамест только фундамент сложили. Товарищ, конечно, вправе обижаться...

— При чем тут «обижаться»? — отчетливо, ровным голосом вдруг произнесла девушка. — Но раз мне не обеспечены нормальные условия для работы, я тут не останусь. — Было такое впечатление, будто она долго складывала про себя эту фразу и подала ее — точно колбок из печи выкатила.

«Ай да дочка, — с восхищением подумал ездовой, — умеет за себя постоять!» И он стал ждать, что ответит председатель, какие найдет слова, чтобы убедить девушку остаться. А в том, что она в конце концов останется, ездовой почему-то не сомневался.

Но председатель, стыдясь своей бедности, только разводил руками да бормотал что-то несвязное: мол, временные трудности, обживетесь... И щеки его под густой черной щетиной пылали, как костер сквозь чашу. А девушка с неожиданной решимостью и проворством забрала свой чемоданчик и, не говоря ни слова, быстро пошла к двери.

— Сидайте, я через минуту! — в спину ей крикнул ездовой.

У ездowego стало нехорошо на душе. Ему было и досадно за петровцев, обманувшихся в своих ожиданиях, и стыдно за себя, что он так нашумел, пахвастал, да еще и угостился за счет людей. Чтобы погасить в себе неприятное чувство, он стал укорять председателя.

— Некрасиво получается, Матвеич, знали же, что к вам агроном прибудет. Неужто не могли подготовиться?

— Да ведь тебе ведомы наши обстоятельства, товарищ Марушкин, — смущенно и грустно сказал председатель. — Ссуду нам задерживают, с транспортом полный

зарез. Телятник тот никак не добьем, где уж тут дачи агрономам строить?

— Так-то оно так, а понимать надо, какой человек перед вами. Она в самой Москве училась, не нам с тобой чета...

— Да мы понимаем, Сергей Данилыч! — сказал председатель, и ездовому почудилась в сокрушенном голосе Жгутова словно бы далекая усмешка. — Коли ты еще повезешь к нам, так уж нельзя ли кого попроще...

— Попроще! — передразнил ездовой, почему-то обиженный. — Будете так встречать, никто у вас не останется!

— Ну, может, кто и останется, — с той же далекой, сокровенной усмешкой ответил председатель.

Этот разговор решительно не понравился ездовому: выходило, что председатель еще кичится своим убожеством. Он взялся за шапку и, не попрощавшись толком, вышел на улицу.

Девушка сидела в санях, укрывшись тулупом, и больше чем когда-либо глядела букой. Ездовой подобрал вожжи и осторожно примостился возле нее.

— Н-но! — ездовой прицокнул языком.

Меринок, посилившись, сдвинул примерзшие сани, и они покатали мимо низеньких, потонувших в снегу изб и черных ветел — на их тонких веточках не держался снег; мимо рослых и старых берез — по-сорочьи пестрые стволы и ветви старательно убраны снегом; мимо колодца в толстой ледяной рубашке; мимо похилившейся слепой Доски почета с толстой шапкой снега на верхней перекладине; мимо погоста, чуть приметного верхушками темных, клонившихся долу крестов — и въехали в белую пустоту равнины.

Снова жестко прошуршал под полозьями деревянный настил моста, и виизу так же бранились, ухали люди, таща крючьями очередную глыбину льда, и с тем же надсадным воем борола снега полуторка. У двери чайной, поминутно выхлопывающей клубы нагретого воздуха, грудились сани, розвальни, машины, и в самой гуще, наводя сумятицу, толстый мужик с багровым лицом разворачивал воз с сеном...

Разговоров не вели. Ездовой сердился на Жгутова и особенно на Окунчикова, пославшего «дочку» в такой бедный, трудный колхоз, считал, что и сам отчасти

должен разделять их вину в глазах девушки, и потому помалкивал.

В МТС вернулись в третьем часу. Здесь было людно, как в чайной: полушубки, тулупы, брезентовые плащи с башлыками, меховые куртки. В коридоре и приемной пахло снегом. Запарившаяся, тоже красная, как с мороза, Марина не знала, за какую телефонную трубку ей прежде хвататься.

Ездовой думал, что им придется долго ждать вызова, но девушка прямо просеменила к двери и, несмотря на протестующие возгласы Марины, вошла в кабинет директора.

«Бесстрашная!» — подумал ездовой.

— Вы что это назад вернулись? — стрельнула глазами Марина, но тут, к счастью, затрещал телефон, избавив ездового от необходимости отвечать.

Дверь директорского кабинета отворилась, оттуда крадущимся шагом вышел завгар Сапожков и остановился в ожидании. «Наверно, Окунчиков попросил его выйти», — подумал ездовой и тоже подвинулся ближе к двери, чтоб быть под рукой, на случай если понадобятся его объяснения.

Но объяснений не понадобилось. Дверь вскоре распахнулась, и директор с порога сказал:

— Марина Петровна, оформите товарищу агроному путевку в «Богатырь».

Пропустив мимо себя агронома, директор хотел вернуться в кабинет, но ездовой просунулся вперед.

— Товарищ Окунчиков, дозвожь пару слов.

— Ну, чего тебе?

Ездовой хотел пожаловаться на петровцев, не сумевших из-за своей бедности и некультурности удержать у себя московского агронома, но против воли сказал другое:

— Надо бы подсобить петровцам. Не могут они своей силой. Ссуду им задерживают, с транспортом зарез. Где ж им для агрономов дачи строить?

— Да... да... знаю, знаю, — проговорил директор, мотнув головой, словно наскочивший на плетень конь. — Давай, Сапожков, заходи...

— «Богатырь» не Петровское! — с довольным видом говорил ездовой, укутывая девушку в тулуп и подгребая ей под ноги солому. — Там и клуб, и радио, и дом для агронома — будьте покойны!

Они уже успели выехать из городка, а ездовой все продолжал расписывать ожидающую агронома жизнь в передовой артели. Он сознавал, что перехватывает через край; не так уж все гладко обстояло в «Богатыре», но считал нужным подбодрить москвичку после первой неудачи. Тем более что и дорога в «Богатырь», хоть и шла иной стороной, не имела никаких преимуществ перед дорогой в Петровское: та же белая, гладкая как ладонь, равнина, те же редкие, рваные перелески, та же цепочка телеграфных столбов, убегающих за горизонт.

Девушка за всю дорогу не подарила ездового ни одним ласковым словом, но его нежность к ней не только не убывала, напротив — обрела прочную силу привязанности. Ездовому нравилось, что, при всей своей тихости и безответности, она сумела проявить характер. «Маленькая, а вострая», — думал ездовой.

Ведя свои успокоительные разговоры, он то и дело оборачивался к девушке и вдруг заметил, что глаза ее стали будто стеклянные и в их гладкую, округлую поверхность впечаталось отражение окружающего простора.

— Умаялась... спать хочет... — тихо сказал ездовой.

Но девушка услышала, ее длинные ресницы взметнулись, и она сказала испуганно:

— А мы не назад едем?

— Как это назад? — усмехнулся ездовой.

— Ну, назад... туда же...

— Да нет, успокойся, вот чудачка! — ответил ездовой, не замечая, что говорит ей «ты» — В Петровское мы же по солнцу ехали, а сейчас оно вона где. Отдыхай, я разбужу.

Но усталая девушка так и не уснула; до самого «Богатыря» просидела она в молчаливой, настороженной неподвижности.

В деревню въехали на гребне поземки; заснеженные крыши слегка подрумянились, а в окнах, глядевших на закат, зажглось по румяному яблочку. У околицы несколько ребятишек катались на коротких самодельных лыжах с небольшой горушки. Ездовой спросил их, не знают ли, где сейчас председатель.

— В правлении, где ж ему быть! — сказал отчаянного вида паренек в распахнутой шубейке и треухе с торчащим, как у зайца, ухом. Глаза его, насмешливые и серьезные, бесцеремонно разглядывали агронома. Он

подумал немного и добавил: — У них занятия по зоотехнике. — И вдруг, гикнув, стремительно понесся вниз.

Ездовой тронул коня, и вскоре сани подъехали к двухэтажному дому с каменным низом и деревянным верхом, на двери которого, за резным крыльцом, висела добротная, золотом, вывеска: «Правление колхоза «Богатырь». В разрисованных морозом высоких окнах мелькали темные тени, видимо в правлении былолюдно, и ездовой почему-то вдруг оробел.

— Мне с вами идти или как? — проговорил он неуверенно.

Но девушка уже выбралась из саней и, захватив чемоданчик, быстро взбежала на крыльцо. Хлопнула дверь. Ездовой вздохнул, съехал с дороги, крутившейся низкой, тугой поземкой, и стал под защиту стены. Задав меришку корм, он прислонился к саням и стал ждать. Все эти годы его жизнь проходила в том, что он либо ехал, либо ждал, и ездовой давно притерпелся и к тому и к другому.

Длинная деревенская улица с замутненной далью была совсем пустынна. Значит, размышлял ездовой, у здешних людей и по зимнему времени есть занятие, не позволяющее им, подобно петровцам, зря слоняться по деревне. Да и вообще, видать, здесь живут совсем поиному. Избы, правда, не больно казисты, лишь немногие под железом, зато перед каждой избой садик с двумя-тремя яблоньками и вишнями. К каждой избе подведен свет, на многих крышах торчат антенны, и, что не меньше порадовало ездового, над каждым домом виднелась скворечня, — значит, люди живут здесь домовито и раздумчиво, а не впоыхах. В конце деревни слышался ритмичный постук движка.

И ездовой задумался над тем, над чем много думают и не одни крестьянские головы: почему так по-разному складывается судьба двух хозяйств, лежащих поблизости друг от дружки, а порой и вовсе бок о бок? И земли у них одинаковые, и люди как будто не разнятся, и те же беды пережиты в войну и в послевоенную пору. Но одно хозяйство, пусть не легко и не просто, а все же крепло, росло, двигалось к столбовой дороге жизни, а другое неуклонно катилось под откос...

Меж тем красные пятна вечерней зари погасли в окнах, легкий сумрак сошел на деревню. Заметно похолодало. Ездовой стал притоптывать, разминаться, хотел уже

пройти в помещение, но тут дверь правления отворилась, из щели показалась рука, держащая чемодан с привязанной к нему авоськой, а затем и вся небольшая фигурка агронома. Дробно простучали ее каблуки по обледенелым ступенькам крыльца, она подошла к саням, положила чемодан, привычно уселась в хранящую след ее тела солому и схоронилась, как в раковине, в торчащем стоймя залубеневшем ворота тулупа.

— Это как же понимать?.. — растерянно произнес ездовой.

— «Кровь с носу!» А я не хочу... «Кровь с носу!» Я не могу так... — она не говорила, а как-то выфыркивала эти слова. — Я молодой специалист, нельзя с меня требовать...

Вслушиваясь в ее отрывистые слова, ездовой начал смекать, что произошло в правлении. Верно, Губанов, мужик громкий и буйный, с первых же слов запугал деликатную москвичку. Председатель, что говорить, сильный и хваткий, но любит покуражиться. «У меня так: кровь с носу, а сделай!» — любимая его присказка. А агроном — человек молодой, неопытный, ясное дело смутилась, оробела. Ему бы потоньше, с подходом, а то навалился, как медведь. Эх же неладно вышло! Главное, за «дочку» обидно. Каково ей во второй-то раз в МТС возвращаться?

Ездовой немного подождал, не выйдет ли кто из правления, чтоб удержать агронома, но дверь будто приросла к косяку, и, вздохнув, он стал снимать торбу с морды меринка. Тот, видать, сильно оголодал: он все тянулся к торбе, шевеля мягкими ноздрями. Ездовой толкнул его локтем в храп, вложил удила в теплый скользкий рот, пристегнул их к уздечке и, снова вздохнув, вернулся к саням.

— Может, пойдете поговорите? Он ведь только на подходе такой, председатель-то...

Девушка букой сидела в розвальнях, насупив брови, плотно сжав красные пухлые губы.

— Хозяйство зажиточное, — говорил ездовой, жалея эту маленькую, неприкаянную фигурку. — Житье сытое, а что работы много, — так где же ее мало? Тут не то что у петровцев, с начала не начинать. И дом тут поставили справный, под железом, и уголь завезли. Вон снежок-то черным припудрен, я так сразу смекнул, что для агронома, сами-то дровами отапливаются...

— Что я, железной крыши не видела! — сипло сказала девушка и снова замкнулась, заперла себя, как кошелек.

В молчании тронулись в обратный путь. Ездовой сердился, он и сам не мог понять, на кого и на что. Девушка, конечно, вправе выбирать; все-таки махонькая, а бросила Москву, дом, мать, единственно по своей комсомольской совести пустилась в этакую даль, в чужую, трудную жизнь. Да ведь и председатель не так уж виноват, что работу требовал, зато и условия дает подходящие. Жаль, что не сладились! Может, надо было ему вмешаться? Да разве б его кто послушал? Сердитое чувство не проходило, и ездовой, наконец, понял, что во всем виноват разленившийся меринок, трюхает себе кое-как, будто не видит, что уже ночь на носу, а дела они так и не сделали. Ездовой вытащил из-под соломы кнут и с оттяжкой хлестнул меринка под бочковатое брюхо. Меринок обиженно мотнул головой, и комья снега чаще забарабанили о передок саней. Правда, ненадолго: упрямый конь сошел на прежний шаг. Но ездовой не стал его больше понукать. На несытое брюхо откуда резвости взяться?

Ездовой и сам чувствовал себя неважно. От выпитой на голодный желудок водки его клонило ко сну, мысли расплзались в голове какой-то серой мутью. «Сейчас бы горячего хлеба», — думал ездовой, борясь с дремой. Девушка ела какую-то пищу, доставая ее из своей авоськи маленькими кусочками. У ездового заворчал в животе, он стал нарочито ерзать и кашлять, но попросить еду посовестился.

Когда они подъехали к МТС, совсем стемнело, на улице зажглись фонари, и в несильном желтом свете, как мухи, зареяли черные снежинки. Ездовой обрадовался темноте и вечернему малолюдству улицы. «По крайности никто не увидит, — подумал он, — а то ведь такой народ, пойдут врать, как ездовой агронома возил...»

Когда остановились у крыльца, девушка уже привычным ездовому движением схватила свой чемоданчик и коротким, с пятки на носок, шагом зачастила к лесенке. Она поднялась, по ступенькам, поставила чемодан, двумя руками открыла на тугой пружине дверь, попридержав ее ногой, забрала чемодан и скрылась в помещении. Это однообразие ее беспомощных, но упрямых и ничем не

смушаемых движений вызвало у ездового глухое раздражение.

Он тоже вылез из саней и, ощущая какое-то окостенение в своем старом теле, принялся медленно разнуздывать меринка, чтоб задать ему корма.

Меринок захрустел, засопел в торбе, у ездового еще сильнее засосало под ложечкой. Он немного походил, топал валенками по снегу, а девушка все не шла, и ездовой подумал что, наверно, директор задает ей перцу. «Ничего, молодежи такая наука на пользу!» — погасил он в себе короткое сострадание.

Из-за каланчи вышла луна, и каждый сугроб и сугробик, каждый бугорок и снежный нарост на суку заискрились тысячью огней, и в этом чудесном, как в сказке, свете невидный городок будто вырос — крышами, коньками, трубами и шпилями поднялся к небу. Ездовой постоял, полюбовался и не спеша направился к крыльцу.

Он миновал пустой коридор, хранивший запах кислотоватой овчины да отошедших в тепле валенок, и вошел в такую же пустую приемную. Стол Маринны был чисто прибран, лампа потушена — видно, директор отпустил секретаря домой. Ездовой обрадовался, что избежал встречи с языкастой девицей. За толстой, обитой войлоком и клеенкой дверью директорского кабинета была тишина; зеленым глазком смотрела в приемную замочная скважина.

Ездовой отошел к окну в ледяном узоре и от нечего делать стал выковыривать дырочку. Куда же теперь направят агронома?

Эх, кабы в Дворики! Там председатель женщина, может легче бы столковались?

Он не заметил, как открылась дверь, но услышал знакомый частый постук маленьких ног. Девушка почти бежала к выходу, неся перед собой чемоданчик. Ездовой окликнул ее, и она, словно припоминая, оглядела его, засмеялась чему-то и сказала :

— Ох, а я-то боялась, что вы не дождетесь!

— Как это не дождусь? Я на службе, — сказал ездовой, радуясь ее оживлению и смеху, который слышал впервые. — Куда прикажете везти? — весело спросил он.

— На станцию!

— Куда-а?

— На станцию. Домой еду!

Девушка снова засмеялась и помахала в воздухе лист-

ком бумаги, на котором подсыхал жирный кружок печати и кудреватая подпись Окунчикова. Сложив бумажку, она спрятала ее в карман под шубку и быстро пошла к выходу. Ездовой в смущении последовал за ней.

Девушка уже устроилась в санях, она сидела как-то по-иному, свободно, непринужденно, и болтала ногой.

Ездовой сорвал торбу с морды меринка, приладил сбрую.

— Н-но! — сказал он почти шепотом.

Его удивляла и тревожила легкость, с какой девушка приняла свое поражение.

— Неладно это у вас получилось, а? — осторожно сказал он через некоторое время.

— Ничего! — Она опять засмеялась, пригнув голову. — Вот дома удивятся!

Она что-то говорила о доме, о Москве, но ездовой вслушивался не в слова, а в звук ее свежего, чистого, странно незнакомого и чужого голоса.

Вскоре они выехали на укатанный грейдер, ведущий к станции.

— Ох, какая дорога хорошая! — обрадовалась девушка. — Мы так минут за сорок доедем, а поезд через три часа.

Ездовой молчал, выпустив вожжи из рук; девушка продолжала болтать сама с собой:

— Поезд через три часа... у меня нет ни билета, ни брони... Знаешь, дедушка, — тронула она за плечо ездового, — ты все-таки не спи, а давай побыстрей. Я тебе водочки поставлю.

— Я вам не дедушка, а Сергей Данилыч, — резко сказал ездовой. — А насчет водочки не беспокойтесь: не нуждаемся.

— Сердитый! — капризно и смешливо сказала девушка. — Вы местный? — спросила она через минуту.

— Местный... — опешив, произнес ездовой: ведь она уже раз задавала этот вопрос. — Местный! — повторил он, и чем-то обидным прозвучало для него это слово, которое он всегда произносил если не с гордостью, то все же не без хорошего чувства.

И вдруг всей кровью он ощутил, что смертельно обижен этой маленькой миловидной девушкой, обижен за себя, за свой край, в котором ни один уголок не пришелся ей по душе, обижен за своего усталого, некормле-

ного коня, что без толку вымахивает весь день по трудным снежным дорогам. Он вспомнил, как неприязненно, холодно, исподлобья оглядывала она родной ему простор: поля, перелески, Ворицу под чистым, светлым льдом; как глубоко безразлично ее маленькому пустому сердцу то, что его земляки нуждаются в помощи, что они тоже хотят лучше работать и лучше жить. А ведь она училась и на их трудовые деньги. И по-человечески обидно и стыдно было ездovому, что он, старый мужик, так ошибся в ней, называл «дочкой», приняв отсевок за золотое зерно.

Он приподнялся в санях. Впереди ясно обозначились в ночи станционные фонари. Вокруг каждого фонаря, словно вокруг луны, сиял переливающийся из голубого в густо-синее, с золотой окольцовкой, ореол. Красными огоньками плевалась топка маневрового паровоза.

Ездovый натянул вожжи. Цокнули копыта о передок саний. Меринок повел шеей в съехавшем чуть не до самых ушей хомуте, будто хотел спросить у ездovого, зачем тому понадобилось сбивать его с усталой, но ровной рыси.

— Слезай, приехали! — негромко сказал ездovый, повернувшись к девушке.

— То есть как это приехали? — удивленно и подозрительно спросила она.

— А вот так! Довольно лошадь по-пустому гонять. Освобождай сани, товарищ агроном!

Ездovый наклонился, взял чемодан с привязанной к нему авоськой и поставил его на дорогу. Затем, чмокнув губами, так круто завернул меринка, что сани накренились, взвизгнув полозом, и девушка запрокинулась навзничь. Она тут же выпрямилась, прыгнула на дорогу, подняла чемодан и, прижав его к груди, закричала:

— Вы не смеете! Я буду жаловаться!

— Давай, давай! — отозвался ездovый и хлестнул меринка.

Сани, раскачиваясь из стороны в сторону, легко побежали по льдистым извилистым колеям, девушка долго смотрела им вслед, но ездovый не оглянулся.



ЧЕТУНОВ, СЫН ЧЕТУНОВА

Как и обычно, Сергей Четунув проснулся оттого, что печем стало дышать. Каждое утро здесь, в пустыне, начиналось для него с ощущения душасей тяжести; это значило, что солнце успело нагреть брезентовую стенку палатки, близ которой стояла его складная койка. Он был новичком, и ему досталось самое плохое место. Пройдет еще несколько минут, пока солнце доберется до Морягина и Стручкова, поэтому оба его соседа сладко спят.

Первым движением Четунова было схватиться за флягу. Но фляга по обыкновению оказалась пустой, несколько тепловатых капель упало ему на нижнюю губу и растворилось в суши рта, оставив на зубах хруст песка. От сухого глотка больно саднило гортань.

Четунов потянулся и отстегнул клапан люка. Пахнуло теплым, но более чистым, чем в палатке, воздухом, и тонкий лучик солнца, словно раскаленная проволока, протянулся от люка к столику Морягина. Лучик капнул золотом на пустую бутылку из-под шампанского, в горлышке которой торчал свечной огарок, растекся радужными бликами на рыжей коже горных ботинок, тоже стоявших на столике, и двумя серебряными пуговками зажег выпуклые глаза ящерицы, накрытой стеклянной банкой.

«Ящерица. К чему она тут? — брезгливо подумал Четунов, глядя, как трудно, судорожными толчками, втягивается и вспухает светлая кожа на горлышке ящерицы. — Она же задохнется!» Он шагнул к столику Морягина, чтобы освободить ящерицу, но случайно задел столик, что-то звякнуло, и Морягин поднял над подушкой красное, потное лицо.

— Что такое? — буркнул он хриплым, непрокашлянным голосом.

— Ящерица вот... — пробормотал, отчего-то смутившись, Четунов.

— Это я сыну. Не трогайте! — Морягин повернулся на другой бок и сразу заснул.

«Ну и тип! — думал Четунов, выбираясь из палатки по маленькой лесенке, прорубленной в глине (палатка была до половины врыта в землю). — Будто нельзя усыпить ее эфиром. Как это он на меня прикрикнул: «Не трогайте!» Надо бы взять да выпустить ящерицу или заставить Морягина ее усыпить!»

Но в глубине души Четунов знал, что он этого не сделает, и Морягин знал, что Четунов этого не сделает. «Лучше всего люди угадывают чужую деликатность. Здесь уже поняли, что я не скандалист. Но сегодня мой день, а не ваш, товарищ Морягин!» И Четунов засмеялся, сразу придя в хорошее настроение.

Он стоял близ края такыра — большой плоской глинистой тарелки в десяток квадратных километров. Рассеченная во всех направлениях множеством тонких трещин, гладкая, твердая, белесая, почти белая, почва такыра напоминала паркет. Вдоль ближнего края такыра тянулись полуврытые в землю палатки, стояли несколько грузовиков, буровой передвижной станок и два трактора.

А дальше простиралась пустыня — бесконечные желтые просторы песков. На границе такыра песок был

усыпан угловатыми обломками глины, сдутыми ветром с такыра и обожженными солнцем до крепости черепицы, словно там разбился вдребезги гигантский воз глиняных кувшинов.

Какое-то одинокое, бесприютное чувство рождал у Четунова этот голый, обглоданный солнцем и ветром пейзаж. Но сегодня Четунов поймал себя на том, что унылый вид такыра не вызывает в нем обычной неприязни. «Отличная природная взлетная площадка», — вспомнились ему слова летчика, доставившего его сюда из Ашхабада. Похоже, что такыр окажется подходящей взлетной площадкой и для него, Четунова.

Начав думать о своей удаче, Четунов уже не мог сдержать бег воображения. Он думал об этом, ополаскиваясь мутной, пахнувшей глиной водой из бочки, уничтожая очередную банку надоевшей скумбрии, снаряжаясь в дорогу. Собственно, это нельзя даже назвать удачей, ведь удача — нечто случайное, а Четунов шел к своему успеху сознательным, волевым усилием.

Сергей Четунов, сын прославленного геолога, академика Сергея Павловича Четунова, с раннего детства был уверен, что у него будет не такая жизнь, как у всех.

Играя со своими сверстниками в любимую детскую игру «Кем ты будешь?», он никогда не терялся среди всевозможных заманчивых профессий — от композитора до водолаза. Он всегда говорил одно и то же, просто и убежденно: «Я буду знаменитым геологом». На этот счет не было никаких сомнений ни у него самого, ни в семье. Кем же еще мог стать Четунов, сын Четунова? Ему не пришлось искать, ошибаться в определении своего пути, не знал он и той внезапной влюбленности в науку, которую переживает человек, наконец-то обретший свое истинное призвание. Он не мог бы сказать, когда любил геологию. Ему казалось, что он любил ее всегда, как любил мать, отца, няньку, как любил все свое, домашнее, неотделимое от привычного и милого мира детства.

Но носить фамилию Четунова не только благо: это ко многому обязывает. Сергей Четунов прекрасно учился: он был отличником в школе и в институте, но это никого не удивляло, будто так оно и должно быть. И сам Четунов чувствовал себя обязанным удивлять людей; он не имел права быть таким, как все, ведь он сын Четунова. Он полагал, что не был таким, как все, когда, отказавшись

от аспирантуры, от Москвы, от спокойной и верной работы под руководством профессора Маркова, ученика отца, вызвался ехать в пустыню. Он видел, что все окружающие — и студенты, и профессора, и просто знакомые — оценили его поступок, это дало ему тот заряд бодрости, без которого очень трудно было бы покинуть родной дом.

Но, прибыв в экспедицию, он как-то растворился в среде, где на долю каждого приходились одни и те же заботы, тяготы, одно и то же пылающее солнце и та же тепловатая, желтая от глины вода. Здесь он снова стал таким, как все, и потому мучительно желал выделиться, показать, что он — единственный, Четунов, сын Четунова.

А вместо того он с самого начала наделал глупостей, и ему пришлось завоевывать самое право быть таким, как все. Об этом своем промахе Четунов до сих пор не мог вспомнить без чувства стыда.

Четунов знал, что самое главное в пустыне — это вода. В экспедицию питьевую воду доставляли на самолетах. Первые дни, прежде чем сделать глоток, он заботливо смотрел, сколько осталось во фляжке воды. Делал он это тайно, боясь, чтобы не заметили другие. Но затем он убедился, что отпускаемой на день порции вполне хватает, и перестал думать о воде. А однажды он заметил, что его товарищи, «матерые пустынники», плохо переносят жажду; они то и дело справляются друг у дружки, не прилетел ли самолет-водонос, бросают на Четунова жадные взгляды, когда он прикладывает к фляжке. Четунов посмеивался про себя над этой несдержанностью и даже сказал Морягину, в котором сразу разгадал мелкого человека и оттого не чувствовал к нему такой настороженности, как к другим:

— Вы бы завели личногомираба.

— Вам легко трепаться! — огрызнулся Морягин. — У вас полная фляжка, а мы вторые сутки сидим без воды.

Оказалось, что главной буровой грозила остановка из-за нехватки воды, и работники экспедиции решили пожертвовать питьевой водой. Исключение сделали лишь для Четунова — новичка. И хотя Четунов в глубине души считал это справедливым, он пошел к начальнику и крупно поговорил. Это была его вторая оплошность.

Пожилой, красивый, с резкими, характерными чертами лица, имевшего в себе что-то тигриное, с властными крупными жестами, начальник экспедиции производил на

Четунова впечатление взрослого человека, усевшегося за игрушечный столик. Начальник испытал в жизни крутую перемену: он занимал видный пост в министерстве, прежде чем стал начальником небольшой геофизической экспедиции. Четунову казалось, что после этого человеку должно быть неловко глядеть в глаза окружающим, а этот не только глядел — он сверлил собеседника своими светло-серыми, блестящими, ласково-грозными глазами, глубоко упрятанными под твердую лобную кость.

Начальник со спокойным, даже скучающим видом выслушал пылкую речь Четунова, широко зевнул и сказал:

— Да чего вы расшумелись? Хотите мучиться, как все? На здоровье!

Он тут же распорядился не давать Четунову воды, насколько не оценив благородный порыв молодого специалиста.

По счастью, воду доставили на другой день. Но Четунов сделал свои выводы. Он разом поскромнел и очень скоро стал таким, как все. Он научился обходиться без воды, когда это было нужно, но и не скрывать подчеркнуто жажды; научился быть то молчаливым, то общительным, смотря по общему настроению; научился пить из ковшика тепловатое, отдающее жестью, донельзя противное шампанское и сплевывать осадок длинным плевком. Но только ради этого не стоило ехать в пустыню. И Четунов настойчиво искал случая, который выделил бы его из окружающей среды. С начальником нужно было держать ухо востро: он не любил выскочек. Поэтому Четунов всячески избегал проявлений пустого энтузиазма, вперед не совался, на производственных совещаниях помалкивал, но все время помнил о своей цели.

Помог ему в известной мере случай, который всегда приходит на помощь тому, кто напряженно ищет. Недаром отец говорил: «В науке случай — одна из форм закономерности». Еще в первые дни по приезде в экспедицию Четунов обнаружил на столике Морягина смятую, засаленную карту. У Четунова с детства была страсть к картам. Приглядевшись, он убедился, что на карте снят участок работ их экспедиции.

— Откуда это у вас? — спросил Четунов.

— Да тут рядом с нами аэрогеологи работали, я у них и выпросил кусок синьки, — ответил Морягин. — Он мне скатерткой служит.

Четунов попросил у него карту и на досуге разобрался в ней. Карта была составлена очень тщательно; она дала Четунову полное представление о том клочке пустыни, где работала экспедиция. И еще тогда смутно — как некая далекая возможность — мелькнула у него одна мысль, вернее даже предчувствие мысли. А вскоре мысль эта вышла из тайников сознания в виде отчетливой и довольно своеобразной идеи.

Для более уверенного толкования сейсмических данных экспедиции необходимо было знать физические свойства пород, залегающих на глубине хотя бы первого отражающего горизонта, то есть в двухстах — трехстах метрах от поверхности. Для этой цели буровики начали проходку трех глубоких скважин, но работа велась из рук вон плохо: то аварии, то нехватка воды. За месяц пробурили всего несколько десятков метров. Начальник созвал совещание с участием буровых мастеров и рабочих.

Было душно, дымно от папирос и самокруток, в уши Четунову лезли бессильные, однообразные слова: «Надо со всей объективностью признать... Необходимо решительно бороться за повышение производительности...»

Впрочем, иногда попадались и дельные предложения, но так, мелочь. Старший мастер предложил начать поиски артезианских вод в окрестности, главный инженер — запросить новую аппаратуру... Начальник молчал, не мешая людям высказываться, но Четунов видел, что голубоватые белки его глаз набухают кровью и после каждого выступления он странно двигает челюстями, оскаливая крупные желтые зубы.

«Эх, хорошо бы встать да ошеломить всех какой-нибудь блестящей идеей!» — думал Четунов. И тут он вспомнил карту. Вспомнил с необычайной отчетливостью, будто разглядывал ее только что. Станный озноб — предчувствие открытия — пронизал его тело, несмотря на сорокаградусную жару. Четунов незаметно выбрался из палатки и побежал за картой. Да, все было так, как ему помнилось: вот эта впадина, и глубина указана — триста метров. Хорошая карта, отличная карта!

Когда Четунов вернулся в палатку, там что-то говорил Стручков, и начальник нетерпеливо двигал челюстями. Но вот Стручков замолк, развел почему-то руками и сел на место.

— Разрешите мне! — побледнев, звонко сказал Четунов.

Как шары на осях, в лад повернулись головы. Острые зрачки начальника укололи Четунова.

— Ну что же, послушаем геологию.

Начав говорить, Четунов в первые секунды не слышал своего голоса и все же почему-то знал, что говорит уверенно и твердо. Он начал с того, что в пустыне среди песков имеются участки, где на поверхность выходят породы более древнего возраста, и тут же дал краткий перечень всех горизонтов, на которые разделяются эти древние толщи. Теперь он уже слышал себя, и ему нравилось, как звучит его голос. Он нарочно употреблял те специальные названия слоев, которыми пестрят учебники по геологии: сантон, маастрихт, дат,—и, видя недоумение на лицах слушателей, думал: «Ничего, привыкайте к языку настоящей науки».

— Нельзя ли пояснее, товарищ геолог, да поближе к делу, — нетерпеливо сказал начальник.

— Я говорю языком моей науки, — так же резко ответил Четунов. Он был уверен, что играет в беспроигрышную игру, и мог себе это позволить. — Да, я не геофизик, я всего только геолог, но я берусь достать вам образцы пород, причем более крупные, чем те, которые вы добудете здесь из буровых.

По тому, как сразу стало тихо, Четунов мог судить о произведенном впечатлении. Не торопясь, достал он из кармана карту и разостлал на столе, отодвинув в сторону кiset и трубку начальника.

— Вот тут, в сотне километров от района наших работ, находится глубокая впадина Кара-Шор. Ее обрывистые борта, высотой до трехсот метров, сложены современными третичными отложениями, но в нижней части их обнажаются и более глубокие породы верхнемелового возраста. Так вот, я мог бы привезти оттуда образцы интересующих вас пород, залегающих на той же глубине, и указать мощность отдельных слоев...

Несколько приподнятая, победная интонация, с какой Четунов закончил свое выступление, упала в холодную тишину. А он ожидал взрыва. «Да они просто не поняли меня», — со смущением и досадой подумал Четунов о геофизиках.

— Так-так, — поблескивая глазами, проговорил на-

чальник. — А эти образцы мы испытаем на плотность, магнитность, электропроводность и полученные данные введем в наши расчеты глубин. Сколько вам нужно времени? — уже с иной, деловой резкостью, спросил он Четунова.

— День, если предоставите самолет, — в тон ему ответил Четунов.

— Решено! — хлопнул тот рукой по столу, поднялся и, обведя повеселевшим взглядом собрание, сказал: — А, каково? Настоящий Четунов!

Этой фразой он сразу отвел Четунову должное место. Да, отныне он перестал быть одним из тех молодых, жалких в своей неопытности специалистов, к числу которых тут, кажется, причислили и его. Он стал Четуновым, сыном Четунова.

...Подходя сейчас к палатке начальника, Четунов с приятным чувством освобождения вспомнил свою прежнюю робость перед этим человеком.

— Да, да, прошу! — донесся из палатки низкий, властный голос.

Четунов вошел. Начальник стоял посреди палатки, широко расставив короткие, сильные ноги в щегольских генеральских сапогах. На нем были брюки из легкого серого габардина, белоснежная шелковая рубашка. «Одет так, будто каждую минуту ждет вызова из центра», — отметил про себя Четунов, невольно отдав дань своему прежнему недоброжелательству. Но эта мимолетная мысль лишь скользнула по сознанию, не отразившись на чувстве симпатии, которое вызывала теперь у Четунова невысокая, грузная, с наклоном вперед фигура начальника, его проточенные сединой, точно мех чернобурой лисицы, волосы и удивительные — ласковые и грозные — глаза.

— Садись, Четунов!

— Спасибо, — ответил Четунов, но остался стоять.

— Что, не терпится? — сказал начальник.

Быстрый и цепкий взгляд его как будто впитал Четунова в глубину маленьких острых зрачков; Четунов понял, что оценен, взвешен, прошупан в своей парусиновой рубашке с двумя карманчиками, свободных парусиновых штанах, горных ботинках, широком поясе с флягой.

— Карта? — спросил начальник.

Четунов похлопал по планшету с прозрачной целлюлоидной стенкой.

— Чувствуется походная закваска! — сказал начальник, вторично отдав должное фамилии Четунова, и поднялся из-за стола. — Ну, желаю! Только условились: не зарываться!

— Есть не зарываться!

Они обменялись крепким рукопожатием.

Легким шагом Четунов вышел из палатки и направился к месту, где его поджидал самолет. Уже весь лагерь проснулся. Погромыхая пустыми бочками, в том же направлении, что и Четунов, промчался грузовик, за его толстыми шинами поднимались столбики пыли. Дувший понизу ветер превращал столбики в вихорьки, вихорьки сливались в длинные тяжи, и Четунов знал, что если ветер не уляжется, то часа через два лагерь покроется желтым налетом пыли.

Из палатки вышел Морягин и, лениво потягиваясь, направился к бочке с водой. За ним показался Стручков в полотняном костюме и белой войлочной шляпе. Привычно ссутулившись, он зашагал к буровым. И у других палаток зашевелилась утренняя жизнь: мылись, брились, вскрывали консервные банки. Четунов смотрел на всех этих хлопочущих людей и вдруг с удивительной отчетливостью представил себе, что он не такой, что он всегда сумеет поставить себя над обстоятельствами. Недаром сегодня, когда они начинают свой обычный день, ничем не отличающийся от других дней, его, Четунова, хоть он и самый молодой здесь работник, ждет самолет, ждет интересное, большое, особое дело.

И самолет и летчик в самом деле уже поджидали Четунова. Самолет был старый, выдавший виды, с потемневшими металлическими частями и неопределенного цвета фюзеляжем. Летчик Козицын, немного знакомый Четунову, был под стать своему самолету обработан пустыней: с выгоревшими волосами, бровями и ресницами, с коричневым, в черноту, от загара лицом.

Взгляд Козицына, открытый, но какой-то слишком пристальный и оценивающий, не понравился Четунову. «Рассматривает меня, как сомнительную монету», — подумал он.

— Стало быть, летим? — сказал Козицын и засмеялся, точно удачной шутке.

— Выходит, так! — нарочито дурашливо подтвердил Четунов.

— Вообще-то нам в пустыню парами летать полагается, — продолжал Козицын, — да напарник мой занят, воду возит, — и он снова засмеялся.

«Зачем он все это говорит? — подумал Четунов. — Проверяет меня, что ли?»

Но это легкое чувство неприязни, которое он испытывал к летчику, почему-то убедило его, что на Козицына можно положиться.

Яростный рев мотора, могучий порыв ветра от пропеллера, хорошо охолодивший лицо, ощущение стремительно убегающей прочь земли взметнули душу Четунова, он почувствовал себя сильным и чистым, готовым к подвигу.

Самолет круто набирал высоту. Вскоре огромный такыр превратился в пятно грязи на сером гофрированном бескрайнем пространстве пустыни. Четунов отнюдь не был очарован своей жизнью здесь, равнодушно относился к соседям по палаткам, но сейчас у него возникло такое чувство, будто он покидает клочок мира, уже согретый для него каким-то теплом.

Внизу плыла желто-серая гладь с редкими грядами барханов, кое-где поросших саксаулом. Края пустыни словно загибались кверху, и казалось, что самолет висит над гигантским блюдом. Так прошел без малого час, и внезапно Четунов увидел под крылом самолета озеро, окруженное крутыми, обрывистыми берегами и покрытое ослепительно белым, даже голубоватым снегом. В ту же минуту озеро стало стоймя, самолет резко пошел на снижение, и Четунов понял, что это мнимое озеро и есть солончак Кара-Шор.

Четунов жадно смотрел вниз, но как ни старался он уверить себя, что это солончак, белая сердцевина казалась льдистой, заснеженной поверхностью настоящего озера. Ничто не выглядело так враждебно жизни, как эта гигантская ямина с обрывистыми бортами, похожая на мертвый лунный кратер. И впервые у Четунова шевельнулось чувство: хорошо бы все это уже осталось позади.

Козицын посадил самолет неподалеку от края солончака.

— Странное название у этого солончака — Кара-Шор, — сказал Четунов, выбравшись следом за Козицы-

ным из самолета. — Сверху он кажется снежно-белым, а совсем не черным.

— Тут, видимо, под словом «кара» надо понимать не «черный», а «плохой», «гиблый», — спокойно пояснил Козицын. — Местечко и впрямь гиблое: глина и соль. Попробуй сядь там внизу, на солончаке-то, враз завянешь по самые крылья. А вот интересно, товарищ Четунов, откуда она взялась, эта самая яма? Землетрясение, что ли?

— Нет, — с готовностью ответил Четунов. — Землетрясение тут ни при чем. Конечно, движение земной коры сыграло известную роль, но вообще предполагают, что карстовые воронки образуются при растворении известняков водой. Первоначально образуются мелкие воронки, затем они соединяются в более крупные, углубляются.

— А вода-то откуда?

— В древности здесь было море. Все видимое пространство было покрыто морем... — Четунову вдруг захотелось поделиться с этим простым и любознательным парнем всеми своими знаниями о пустыне. Он, вообще не любивший «объяснительных» разговоров, обнаружил в себе удивительную тягу к популяризации. «Что это я разболтался? — подумал он в ту же минуту. — Время, что ли, хочу оттянуть?» — Да, морем... — повторил он уже без всякого подъема. — Ну, хватит, пора за работу.

— Помочь вам? — предложил Козицын.

— Какая тут помощь?.. Вы лучше смотрите, чтоб самолет ветром не сдуло!

Четунов сказал это шутливо, желая показать Козицыну, что его несколько не смущает предстоящая работа. Но летчик воспринял его слова совершенно серьезно.

— Бывает иной раз. Но вы не сомневайтесь, я тут большие камни приметил, приторочу его тросиком, никакой ветер не возьмет.

«Только этого не хватало», — вскользь подумал Четунов и, нахлобучив поглубже кепку, зашагал в сторону обрыва.

На ходу он несколько раз оборачивался и махал Козицыну рукой, но затем подумал, что это может произвести такое впечатление, будто он робеет, и заставил себя не оглядываться. Когда же, отойдя порядком, он все-таки оглянулся, то Козицына уже не было видно, только самолет крошечным жучком темнел на песке. А вскоре

исчез и самолет, будто его всосал песок, и Четунов остался один.

Чувство печали и восторга охватило его сердце. Он как будто сверху увидел себя — маленькую бесстрашную фигурку, упрямо одолевающую мертвое знойное пространство. Что-то необыкновенно поэтичное было в том, что сын академика Четунова, Четунов-младший, словно молодой воин, принявший оружие из рук старого отца, вступил в поединок с неведомым.

Он подошел к расщелине, которая, извиваясь, вела глубоко вниз, к самому дну солончака. Сначала спуск был довольно полог и сложен глиной, но дальше, вниз, породы становились плотнее, они выступали вперед серыми, зеленоватыми и красными ступенями гигантской лестницы. (Вероятно, мергели или известняки.) «Как это писал отец? «Дорогая сердцу каждого геолога прекрасная обнаженность пород». Точно о женщине! — усмехнулся Четунов. — Впрочем, женщины мало интересовали отца, у него была одна влюбленность — геология. Наверно, так и должно быть у каждого большого ученого. А я такой или нет?»

Но думать об этом оказалось неприятно, и Четунов переключился на другое. Вот он наталкивается на что-то необыкновенное. Какая-то мелочь, ничего не говорящая менее зоркому глазу. Но он хватается за эту мелочь — и в результате: новая блестящая теория возникновения этих гигантских карстовых впадин. Сперва краткое сообщение в газетах, значение которого понятно лишь немногим избранным, затем доклад в научном обществе, диссертация — тоненькая тетрадка, подобная «мемуару» Эйнштейна, но за нее присуждают докторскую степень...

Теша себя такими мыслями, Четунов не оставался без дела. Он достал из рюкзака записную книжку, молоток и металлическую рулетку, поправил рюкзак за спиной, чтоб не мешал работать, и продолжал медленно спускаться. Одновременно он вел замер мощностей, зарисовку и краткое описание всех пересекаемых им пластов. Отбирать образцы он решил на обратном пути, когда полностью ознакомится с разрезами.

Поднявшееся высоко солнце пекло все сильнее, и уже после часа напряженной работы Четунов почувствовал, что вся его рубашка просолилась потом и стала жесткой, как брезент, а голова под кепкой мокрая и горячая. Не

было ни малейшего укрытия от зноя, лишь у подножия самых высоких ступеней ютились узкие полоски теней.

Четунов взялся за флягу и почувствовал под рукой, какая она маленькая и легкая. «Нельзя», — строго приказал он себе и тут же ощутил сильнейшую жажду. Странно, еще минуту перед тем ему вовсе не хотелось пить, но стоило подумать о воде, как сразу появилось противное, ноющее чувство. «Нет, я не буду пить», — просто и строго сказал себе Четунов и с радостью понял, что сможет удержаться. Это дало ему новое чувство самоуважения: он умеет быть жестким к себе, беспощадным к своим слабостям; недаром говорил отец, что без этих качеств нельзя стать настоящим геологом-исследователем. Но раз так, раз он проверил, испытал себя, то нет ничего страшного в том, что он сделает один глоток. Когда придет действительная необходимость в самоограничении, он сумеет и вовсе обойтись без воды. Он отвинтил пробку и сделал глубокий глоток; вода была прохладной и очень освежила Четунова.

Теперь он с новой энергией принялся за работу. Спуск становился все труднее, но этот привкус риска был приятен его крепкому, ловкому, молодому телу. Незамысловатая работа захватила Четунова. Да, это была рядовая работа, какую ежедневно с опасностью для жизни делают сотни геологов. Но именно этим она и была прекрасна. Сейчас Четунов находил поэзию уже не в случайной и легкой удаче, а в сознании того, что он один из тысячи безвестных, скромных тружеников. Да, он будет рядовым геологом-поисковиком. Загорелый, обветренный, пропеченный солнцем, он неприметно пройдет свой жизненный путь, лишь немногие близкие будут знать настоящую цену простому подвигу его жизни. И только в старости, в близости конца, сделает он свой громадный опыт достоянием науки, и самая лучшая, печальная, запоздалая слава осепит последние дни его жизни...

Рукавом куртки Четунов провел по глазам. Он находился на крутом уступе, высотой около пяти метров. С немалым трудом, ссадив руки и колени, спустился он с этого уступа и, уже сидя внизу, подумал: «А зря я отказался от помощи Козицына, спускаться по веревке было бы куда проще. Опять это мое самолюбие, желание все делать самому. Нет, надо решительно вытравлять в

себе все эти дрянные, мелкие чувствешки. Быть простым и сильным — вот линия моей жизни».

Судя по замерам, он спустился уже более чем на двести метров. Значит, сейчас он ближе к дну впадины, чем к ее вершине. Четунов поглядел вверх, и невольный испуг кольнул его сердце: отсюда стена, по которой он спускался, казалась вертикальной. «Как же я выберусь обратно? Да еще с полным рюкзаком? Ну, да об этом рано думать, сумел спуститься, сумею и подняться», — успокоил он себя.

Четунов продолжал свой медленный и опасный путь. Каждый метр спуска уводил его все глубже и глубже в геологическое прошлое земли. Пестрые слои мергелей и красных известняков, острые края которых царапали его руки, образовались миллионы лет назад, когда здесь находилось неглубокое, но обширное море мелового периода. Присев передохнуть на один из выступов, Четунов стал пристально рассматривать эти слои. словно листая тяжелые страницы, читал он древнюю летопись земли. Так добрался он взглядом до самого низа, где бледно, мертвенно мерцал гладкий соляной покров.

Дальше спуск стал еще тяжелее. Плотные известняки серого и розового цвета шли вниз почти отвесными ступенями. Цепляясь ободранными руками за малейшие выступы и припадая всем телом к известнякам, запорошившим его с головы до ног розоватой мучной пылью, Четунов медленно, но упорно продолжал спуск. Порой мысль: «А как же обратно?» — жалила мозг, но Четунов гнал ее прочь, поглощенный одним желанием: закончить этот изнурительный спуск, расправить тело, а главное — напиться воды. Последнее стало самым сильным его желанием, но сейчас он не отваживался на поблажку себе. Один глоток не принесет облегчения, а тратить воду приходится расчетливо: кто знает, сколько еще пробудет он в солончаке.

В те секунды, когда он отрывал взгляд от стены и смотрел вверх, солнце било в глаза слепящими белыми стрелами, камни тоже раскалились и дышали в лицо жаром паровозной топки. Наконец, его нога неуверенно коснулась ровной поверхности. Четунов утвердил на земле вторую ногу и, чуть поколебавшись, отнял руки от каменной глыбы, за которую перед тем цеплялся. Да, он

крепко стоял на твердом дне солончака, трехсотметровый спуск остался позади.

Ослепительно белая, гладкая и ровная, когда на нее глядишь сверху, поверхность солончака вблизи оказалась разбитой на множество больших и малых многоугольников, но эти многоугольники не были панцирно-твердыми, как на такыре, а податливыми, словно разогретый солнцем асфальт. Слой соли оказался весьма тонким, сквозь него просвечивала темная сырая глина, от которой тянуло паркой духотой.

«Неуютный уголок», — слабо усмехнулся Четунов и невольно обратился взглядом туда, где в страшной выси клубилась золотистой пылью кромка отвесной, неприступной стены. Да, неприступной, теперь в этом не оставалось ни малейшего сомнения. А раз так, надо искать более пологий подъем. Но есть ли такой?

— Есть. Не может не быть! — вслух сказал Четунов и испугался своего голоса, странно прозвучавшего в мертвой тишине солончака. И вслед за этим коротким, как толчок, испугом пришел настоящий, тяжелый страх.

Отдыхать уже не хотелось, тело вновь стало нетерпеливым. Четунов отпил из фляги несколько глотков нагретой воды и быстро зашагал вдоль подножия стены. Обогнув небольшой мыс, вдающийся в солончак, он увидел, что отсюда уходят вдаль все такие же почти вертикальные обрывы, сложенные слоистыми толщами и совершенно лишенные каких-либо расщелин или трещин. Нечего было и думать подняться по этим стенам без помощи канатов и клиньев. «Похоже, я попал в западню», — подумал Четунов и нехорошо улыбнулся пересохшими губами.

То рабочее возбуждение, которое он испытывал во время спуска, исчезло без остатка, уступив место тревожной озабоченности. «Может быть, я не туда иду? Может быть, обрывы становятся менее крутыми не к востоку, а к западу?» И хотя для подобного предположения не было никаких оснований, он ухватился за него, как за истину, и быстро зашагал назад.

Вот он миновал место спуска и, пройдя еще с километр, вспомнил вдруг, что обещал геофизикам сделать полное описание разреза. Как же теперь быть? Ведь в другом месте, где он будет подниматься, разрез окажется иным, чем там, где он делал только замеры. Получится

путаница! Но, пристально взглядевшись в обрывистые берега «мертвого озера», Четунов увидел, что разноцветные слои пород на всем протяжении, охватываемом глазом, залегают строго горизонтально, не меняя ни цвета, ни мощности, а значит, и состава. Выходит, где бы он ни взял образцы, он всегда сможет указать на сделанной им зарисовке разреза тот слой, которому этот образец принадлежит. Вот что значит морские отложения!

Но тут же новая тревожная мысль погасила короткое удовольствие этого маленького открытия: «Раз так, и эти пласты везде одинаковы по своей мощности и составу, значит они вдоль всей этой огромной впадины создают такие же неприступные обрывы. Куда бы я ни пошел, передо мной будут все те же отвесные стены!»

Что же ему делать? Он даже не может дать знать Козицыну о своем положении: из-за выступов обрыва тот не в состоянии увидеть, как мечется по дну солончака попавший в беду Четунов. Попробовать держаться ближе к центру солончака? Опасно, говорил же Козицын, что там настоящая топь.

Спокойно, спокойно! Ведь не погибнет же он в самом деле, когда под боком самолет, когда база в одном летном часе. Что за чушь, это все игра нервов. Надо обдумать положение, составить план действия...

«Значит, так: я пойду вдоль борта и буду искать пологий обрыв. Если не удастся, вернусь к месту своего спуска и попытаюсь подняться там. Не выйдет — как-нибудь доберусь до центра впадины и подам сигнал бедствия: я буду махать рубашкой хоть шесть часов кряду. Если и это не поможет, буду просто ждать. В конце концов Козицын, видя, что я не возвращаюсь, обязательно пойдет на розыски: он парень надежный, не бросит человека в беде. На самый худой конец — Козицыну придется слетать на базу за подмогой. Ну, заночую в солончаке, тоже не беда».

Но в противовес этим трезвым мыслям услужливое и пылкое воображение рисовало ему безобразные картины гибели: его поражает солнечный удар, засасывает глинистая топь, ветер срывает самолет. Ему вспомнилось, что ящерица, лишенная возможности двигаться, погибает под таким солнцем через несколько минут. Человек, конечно, выносливее: если он свалится, агония продлится не менее трех-четырёх часов. «В пустыне всякое бывает!» —

стучало в мозгу. Он гнал от себя эти мысли, боясь той слабости, которую и прежде смутно подозревал в себе и в которую все же не верил.

Чтобы вытеснить эти мысли, он стал думать о другом: о невольных виновниках его беды. Недаром ему всегда казалось, будто отец чего-то не договаривает, рассказывая о своих путешествиях. Да и не он один. Все эти прославленные землепроходцы сознательно или бессознательно скрывали то стыдное и мелкое, что им наверняка довелось пережить в их походах. Да и кому охота говорить о своей слабости, когда дело сделано?

Четунов находил какое-то странное наслаждение в этих злых и несправедливых мыслях, словно заранее хотел оправдаться в какой-то дурной крайности, на которую решится, хотя и сам еще не знал, что это за крайность.

Солнце — добела раскаленный, почти бесцветный шар — стояло в зените, и всякий раз, когда Четунов взглядывал на него, — он почему-то перестал доверять часам, — ему приходилось на несколько секунд закрывать глаза. И тогда перед ним возникала кроваво-красная пелена с голубым лучистым отверстием посередине, будто пробитым пулей в стекле. Рот его обволокло липкой слюной, кожа на лице и руках зудела и чесалась от ожогов солнца, от мельчайших частиц соляной и известковой пыли. Неподвижно-горячий воздух заключил все его тело в душный кокон.

Станным свойством обладает пустыня: свою пустоту и беззвучие она возмещает сонмом призраков, преследующих одинокого путника. Перед глазами Четунова то и дело возникали зыбкие, мгновенно тающие контуры высоких белых зданий, его ухо улавливало то странную тонкую музыку, то глухой треньк нагретого солнцем колокольчика. А порой слышалось будто журчание воды, и тогда еще сильнее хотелось пить. Он несколько раз брался за флягу, ее выцветшая матерчатая обшивка так нагрелась, что обжигала руки. Наконец, он бережно завернул флягу в мешочек для образцов и спрятал ее в рюкзак.

От этих движений, казавшихся ему трогательными, невыразимая жалость к себе охватила Четунова. Он медленно побрел вперед, и сбоку от него, по серой, в трещинах, глине, заскользила его бледная, прозрачная, словно отошавшая тень. Ему представилось, что солнце

пронизывает его фигуру, словно стекло, что тень его съеживается, бледнеет и вот-вот исчезнет совсем. «Меня ждет судьба бедного Петера Шлемиля, человека, потерявшего свою тень», — подумал Четунов и тотчас же вспомнил отцовскую библиотеку, где он часами просиживал за книгами. Как хорошо и спокойно мечталось ему тогда о будущих подвигах и открытиях, о яркой, необычайной жизни!»

«Я не трус в обычном смысле слова, — думал Четунов, шагая вдоль полукруглого выступа, скрывавшего от него дальнюю перспективу впадины. — Я не боюсь умереть ради какого-нибудь большого свершения. Но погибнуть в этой вонючей дыре, погибнуть, еще ничего не сделав, унести с собой целый неосуществленный мир! Ну, будь я ничтожеством, но ведь это не так, я не из тех, кто проходит по жизни бесследно. Если я на этот раз уцелею, я напишу такую книгу о пустыне, какой еще никогда не было. Эта книга не может, не должна погибнуть...»

Он достиг крайней точки мыса, и перед его натруженными глазами открылась все такая же уныло-суровая, однообразная картина: отвесный многослойный обрыв и под ним — уходящая вдаль, сверкающая гладь солончака. Лишь в синем мареве дали стена куда-то заворачивала, и там, близ самого заворота, темнели как будто расщелины. Боясь разочарования, Четунов тяжело вздохнул и мысленно прикинул расстояние: километров восемь — десять, не меньше.

«Даже если мне и удастся выкарабкаться отсюда, я доберусь до самолета лишь затемно. А тем временем Козицын решит, что со мной случилось несчастье, и полетит в лагерь за помощью. Так или иначе, мне придется заночевать в пустыне без пищи, без глотка воды». Но все это он придумывал, чтобы ослабить силу удара, если окажется, что и те дальние расщелины не помогут ему выбраться на поверхность.

И снова шагает он вдоль обрывистого берега мертвого озера, ботинки его то разъезжаются на осклизлой глине, то глухо цокают по твердым обломкам, упавшим сверху. Жажда саднит гортань, обволакивает рот шершавой пленкой, и даже нет слюны, чтобы снять эту противную пленку, и он старается не думать о том, что во фляжке еще осталось, быть может, несколько капель воды.

Лишь через три с лишним часа добрался Четунов до первой расщелины. Мышцы перетруженных ног ныли и дрожали, пухла, болела голова.

Последние сотни метров Четунов шел как бы в беспамятстве, порой останавливался и беспомощно оглядывался вокруг, будто чего-то искал.

— Нет, нет, — шептал он, — дойду, тогда выпью... тогда выпью, воды выпью, воды...

И вот он дошел и опустился на камень. Даже не взглянув на расщелину, сулившую ему свободу, он дрожащими руками вытащил флягу, отвинтил пробку и припал губами к горлышку. Первый глоток он даже не заметил, не ощутил вкуса воды, зато второй процедил медленно, как прекраснейшее вино, а третий продержал во рту, пока влага как-то сама не испарилась. Он хотел сделать еще глоток, но фляга была пуста...

С трудом поднявшись на ноги, Четунов шагнул к подножию узкой, крутой расщелины, сложными извилами избегавшей кверху. Здесь, словно вспомнив о чем-то, он снял рюкзак, сложил в него все свое снаряжение, закинул его за спину и стал карабкаться по чуть пологой каменной стене. На высоте десяти метров путь ему преградил отвесный голубовато-серый обрыв известняков. Четунов опустился на узенький выступ. Он сидел совершенно неподвижно, закрыв глаза, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, кроме страшной душевной усталости. Затем как-то лениво колыхнулась мысль: «Ведь есть же еще другая щель».

Он даже не спустился, а бессильно скользнул вниз, ободрав локти и поясницу. Издали казалось, что вторая щель находится рядом с первой, на деле же их разделял добрый километр, и Четунов шел этот километр без малого час. Вторая расщелина была гораздо шире первой, она напоминала ту, по которой он спустился в солончак. И хотя Четунов успел убедиться, как обманчивы эти расщелины, он крикнул громко и словно наперекор кому-то, кто держал его в этом проклятом каменном мешке:

— Выберусь!

Он без труда одолел первые метры, но дальше подъем стал круче, и подошвы ботинок скользили. Четунов быстро разулся. Раскаленные камни больно ожгли подошвы сквозь тонкий шерстяной носок, но зато его ноги приобрели цепкость ладоней, и весь он стал удивительно

легким. Четунов засмеялся, обрадованный этой новой легкостью, и вдруг радость сменилась испугом: он почувствовал пустоту рюкзака за своими плечами.

— А образцы?!

Поглощенный одним стремлением — вырваться из западни, он забыл о них. «Да нет, — сказал он себе. — Какие к черту образцы? Разве мне осилить подъем с полным рюкзаком?»

В памяти всплыло резкое, характерное лицо начальника. Каким крошечным казался отсюда этот человек! Неужели он, Четунов, мог всерьез с ним считаться? Четунов хрипло засмеялся. Но, думая о начальнике, он невольно со все большей отчетливостью вызывал в памяти его облик: кургузую, сильную, с наклоном вперед фигуру, короткий, властный жест, грозно-ласковые глаза, и против воли этот образ вновь приобретал над ним странную власть. Чтобы освободиться от нее, Четунов подумал со злостью: «Хорош начальник, послал неопытного человека почти на верную гибель и бровью не повел! Да что я для него, что для него вся наша экспедиция? Трамплин для новой карьеры. Ну, а я вот не желаю приносить себя в жертву, пусть ищет дураков».

Но чувство освобождения не приходило. И Четунов заставил себя думать о другом. Пройдут годы, быть может совсем немного лет, — он снова будет в Москве, в привычном домашнем тепле, устроенный и благополучный, и ему вспомнятся его нынешние беды, которые издали покажутся маленькими и смешными. И, согретый этим воображаемым теплом будущего, он тут же придумал шутку про запас: «Пустынник из меня не вышел».

Прочь из этой гиблой ямы, из пустыни, от этого мерзкого солнца, от этих требовательных, беспощадных людей! Но, странно, движения его стали более медленными и затрудненными, будто на плечи ему легла какая-то невидимая тяжесть. Где-то в самой глубине его существа зашевелилось отвратительное ощущение, что ему никогда не разделаться с этой проклятой пустыней. Конечно, физически он рано или поздно выберется из нее, но она потащится следом за ним в Москву, в родительский дом, даже в сердце матери. Сам-то он сумеет справиться со всем стыдным и гадким, что он вынесет отсюда, но для окружающих он будет запятнан навсегда.

— О, чтоб вас всех! — в смертной тоске простонал Четунув и опустился на каменную площадку.

С предельной отчетливостью овладело им чувство, будто множество невидимых существ вцепилось в него, не давая ему выбраться на волю. Он смутно различал среди них и товарищей-студентов, и профессоров, у которых учился, и тех двух-трех женщин, с которыми был близок, и уж совсем отчетливо — мать и отца. Всем им было зачем-то нужно, чтобы он подох в этом проклятом пекле! Ну, отец — тот и себя не привык щадить, измочалил себя о жизнь, как старый кнут. Но мать, мать — и она вместе со всеми!

«Ну и воспитывали бы как следует!» — бессильно выкрикнул он в лицо родителям. Спазмы рыданий больно схватывали гортань, но слез не было: так иссушило его солнце; ему казалось, что он глотает шершавые камни. Неужели же нет в мире ни одного человека, с которым можно быть самим собой? Человека, который любил бы тебя не выдуманного, а такого, каков ты есть на самом деле? Ведь даже мать — теперь он убедился в этом — любила его выдуманного. Как чудно хорошо было бы найти женщину, которая знала бы о нем все, даже самое жалкое, сокровенное, и любила бы его не меньше, потому что знала бы его другую, высокую, ценную сущность! Он вдруг так ясно представил себе эту прекрасную, щедрую сердцем женщину, добрую, умную и бесконечно преданную, что на миг ему почудилось: она тут, рядом с ним. Но миг промелькнул, и кругом было все то же: камень, зной, пустота. Четунув поднялся, покорно, отчаянно, и бессильно заскользил вниз...

Оказавшись у подножия склона, он скинул рюкзак, достал молоток и, скривившись от отвращения, вырубил в самой нижней части обрыва кусок белого известняка, насекал на нем единицу, сделал пометку на своей зарисовке. Так же поступил он, когда поднялся метров на пятнадцать и пересек прослой красноватых известняков. Карабкаться вверх становилось все труднее, но Четунув упорно вырубал образцы и складывал их в мешок, пока не пресекалось внезапной судорогой усталости сердце. Он опустился на камни, отер с лица грязный пот и увидел, что висит над пропастью. Десятки пульсов враз громко забились в его теле, но то был лишь автоматический отзыв тела на опасность.

«Ну и сорвусь, — думал Четупов, — и пусть!» Он поднялся, чувствуя бездну в вершке от своих пяток, и стал вырубать кусок розовато-белого известняка. Мелкие, остроугольные выступы не поддавались удару молотка, ему удалось отщепить лишь два крошечных кусочка. Тогда, повинувшись тому же злорадному чувству, Четупов достал зубило и принялся вырубать один из крупных выступов. Затем он вновь полез вверх. Зной опалил лицо, слепил глаза, сухой рот не хотел принимать горячий воздух, пропитанный пылью, тяжелый мешок тянул вниз, а Четупов упорно, метр за метром одолевал наиболее крутую и узкую часть подъема. Инстинкт самосохранения вел его, словно умный поводырь, подсказывал, куда ставить ногу, за какой выступ ухватиться, где проползти, а где пройти в рост, где смело прыгнуть, где пробежать, едва касаясь кончиками пальцев сыпучего, неверного грунта. Казалось, мозг не принимает никакого участия в этой борьбе за жизнь. И столь же безотчетно Четупов отбивал, помечал и складывал в мешок образцы; и когда он, наконец, ступил на ровную поверхность, то не испытал ни удивления, ни радости, словно все время был уверен, что так оно и должно быть. Он только ощущал смертельную усталость, у него болели исколотые, израненные, обожженные ноги, тяжело набитый рюкзак тянул к земле.

Сняв рюкзак, Четупов прилег у самого края обрыва и стал равнодушно глядеть сверху на только что пройденный страшный путь. Недалеко от того места, где он лежал, солончаковая впадина узкой горловиной соединялась с другой впадиной, уводившей к горизонту. И Четупов, хорошо помнивший морягинскую карту, заметил в ней одну неправильность: на карте горловина выглядела совсем короткой, в действительности же она представляла собой длинный, в полкилометра, каменный коридор. Верно, из-за этой ошибки аэрогеологи и отдали «синьку» Морягину.

Эта чужая ошибка подбодрила Четупова. Он приподнялся и стал массировать одеревеневшие икры. Вдруг он услышал гуд самолета. Самолет прошел так низко над краем впадины, что Четупов невольно пригнулся. Козицын все-таки нашел его! Это была неожиданная удача, но Четупов ощутил не радость, а скорее досаду. Ему не хотелось встречаться сейчас с Козицыным, чувствовать на себе его пристальный, словно ошупывающий взгляд.

«Обязательно спросит, почему я босой», — подумал Четунов, глядя на подруливающий к нему самолет. Его так обозлило, что он должен кому-то давать отчет в своих поступках, что он почти не слышал первых слов Козицына. Летчик чему-то радовался, верно тому, что так ловко его разыскал, но Четунова раздражала его радость.

— А где же ваши ботинки?

— Я их снял, мне, видите ли, фасон не понравился, — сквозь зубы проговорил Четунов.

Козицын округлил брови. Он смотрел на Четунова со смешанным чувством жалости и любопытства. Уже не в первый раз на его глазах уходили люди на великую проверку пустыней, и он знал, как нелегко давалась многим из них эта проверка. Не раз отвозил он в далекие уголки пустыни самоуверенных, пышущих бодростью и наивностью юнцов, а встречал пригнетых, поскромневших людей. Но он не смущался подобной переменой, ибо знал, что так приходит зрелость, что прибитость пройдет, забудется, а мужество и новое знание себя останутся навсегда.

Но этот ему не понравился. Не понравился откровенно растерзанный облик, босые грязные ноги в паголенках от носков, весь бесстыдно размундиренный вид («Как у дезертира», — подумал про себя Козицын), не понравился пустой и вместе затаенный взгляд Четунова и то, что он встретил его молчанием. Или уж больно туго пришлось ему и слишком много неожиданного узнал он там о себе?

— Видать, солоно пришлось в солончаке-то? — спросил летчик и, не дождавшись ответа, добавил: — Хотите пить?

— Пить... — рассеянно отозвался Четунов.

Он все время чего-то ждал от Козицына, хотя и сам не знал чего: это было как предощущение опасности. Но, услышав дважды слово «пить», произнесенное сперва летчиком, затем им самим, он машинально схватился за фляжку. Лишь приметив удивленный взгляд летчика, он сообразил, что фляжка пустая, и хотел было убрать руку, и тут во фляжке что-то булькнуло. Не веря себе, Четунов поднес горлышко к губам, и несколько горячих капель упало ему на язык. Он и сам не мог взять в толк, откуда оказались там эти капли.

— Никак у вас сохранилась вода?

Четунов подметил сперва восхищенную интонацию в голосе летчика, затем дошел до него смысл вопроса.

И ответ родился легко и просто, точно он заранее был готов у Четунова:

— Приходилось воздерживаться. Энээ.

Эта неожиданная ложь дала ему точку опоры. И когда Козицын принес из самолета термос и, держа его обеими руками, почтительно протянул Четунову, тот подумал: «Э, да он начинает уважать меня».

А Козицын и впрямь начал уважать Четунова. Ему, человеку простому и мужественному, и в других легче было видеть хорошее, сильное, нежели низменное, дурное. А когда он поднял с земли тяжело набитый образцами рюкзак Четунова, у него возникло чувство вины перед этим измученным, истерзанным, но хорошо сделавшим свое трудное дело человеком. И невпопад, желая скрыть смущение, он принялся рассказывать Четунову про одного шофера, заблудившегося в песках. Решив, что ему уже не выбраться, шофер написал на тыльной стороне кисти: «Прощай, мама, прощай, жена». А на следующее утро, когда его разыскали с воздуха, ему очень стыдно было...

— Я это к тому говорю, — добавил Козицын, чувствуя, что рассказ его звучит не очень-то ловко, — что у нас человека никогда в беде не оставят.

Он украдкой посмотрел на Четунова, но у того на лице было лишь вежливое и безучастное внимание. Четунов в самом деле и слышал и не слышал Козицына. С той минуты, как он перестал его опасаться, он почувствовал внутри себя странную, незнаемую прежде пустоту, будто его всего выжгло, как эту пустыню.

Уже сидя в самолете, Четунов вдруг вспомнил историю, рассказанную летчиком, и подумал: «Вольно же было шоферу расписываться в своей слабости. Вот о том, что было со мной, знаю я один».

Он долго смаковал эту мысль, но она не дала ему облегчения.

«Может быть, даже хорошо, что мне так плохо сейчас? — думал Четунов. — Кто скажет, как создается в человеке характер». Но пустота внутри него не давала заговорить себя словами, и Четунов бросил думать. Некоторое время он смотрел в затылок Козицыну. Круглая голова летчика в кожаном шлеме напоминала футбольный мяч. Наконец, Четунов неприметно для себя уснул и не проснулся даже при посадке. Козицын сбегал и

притащил ведро воды, портянки, свежую рубашку и только после этого растолкал Четунова.

— Спасибо... спасибо... — бормотал Четунов, выбираясь из самолета.

События дня сразу всплыли в сознании, но воспоминание утратило былую едкость. С ним на факультете учился студент, участник Отечественной войны, у него под самым сердцем лежал не извлеченный при операции осколок снаряда. Студент говорил, что осколок ему не мешает, хотя он всегда ощущает его присутствие. И только при неосторожных, резких движениях осколок обнаруживает себя острым уколом.

«Так будет и с этим, — подумал Четунов. — И пусть напоминает о себе боль, это не должно пройти для меня бесследно, но я живой и хочу жить».

Он с удовольствием окатился прохладной водой, вымыл ноги и, обмотав их сухими портянками Козицына, натянул ботинки. Причесываясь перед маленьким круглым зеркальцем, он с удовольствием пригляделся к своему почерневшему, подсушившемуся и потому более четкому и выразительному лицу. И уже совсем бодро сказал Козицыну:

— Иду докладывать по начальству. Рубашку и прочее снаряжение верну завтра.

Но, подойдя к палатке начальника, он вдруг испытал раздражение против этого холеного, самоуверенного и чем-то импонирующего ему человека, который никогда не сможет оценить по достоинству то, что он, Четунов, сделал, ибо благородная полуправда страданий Четунова нисколько его не интересует. «Что ж, выполнили задание?» — мысленно передразнил Четунов.

И вот то ли из бессознательного желания вознаградить себя за то, что действительно было, но о чем он не мог говорить, то ли из желания удивить начальника, то ли потому, что на карте участок, пройденный им с такой мукой, казался ему совсем крошечным, но Четунов решил на маленькую, вполне безобидную ложь. Показывая на карте район, который он обследовал, Четунов небрежным движением пальца обвел и часть второй впадины.

— А, так вы и во второй впадине побывали? — сказал начальник.

— Да, — кивнул Четунов и немного поспешно добавил: — Карта тут не совсем точна, на деле горловина имеет вид длинного коридора.

— Так, так, интересно, — одобрительно сказал начальник. — Значит, уточним: вы прошли вот от этой точки до конца впадины, затем миновали горловину и обследовали вторую впадину до этой точки. Так? — Он взял карандаш и легкой линией отметил настоящий и воображаемый путь Четунова.

Четунову стало противно: эта едва приметная линия как бы закрепила его ложь. «И чего он привязался ко второй впадине? Можно подумать, что в ней все дело».

— Так. А почему же вы снова вернулись в первую впадину? — дотошно выпрашивал начальник.

— Значит, надо было, — грубо и нетерпеливо ответил Четунов.

Он продолжал свой доклад, то и дело прерываемый вопросами начальника. И чем дальше, тем короче, отрывистей становились ответы Четунова. Ему вдруг почудилось, что начальник его на чем-то ловит. «Может быть, в моих ответах есть незаметные мне самому провалы. И зачем только приврал я насчет второй впадины, все было бы так хорошо!»

Настроение Четунова все более портилось, но начальник словно не замечал этого. Выспросив все до конца, он наговорил Четунову много лестных слов, присовокупив, что ему будет объявлена в приказе благодарность. Все это нисколько не тронуло Четунова. Он поймал себя на странном чувстве: ему казалось, будто его хвалят не за то, что он действительно сделал, а за мнимый осмотр второй впадины. И хоть это было неправдой, он вдруг уверился, будто главного-то он и не выполнил. Случайная ложь как-то странно обесценила его работу в собственных глазах.

Когда Четунов вышел из палатки начальника, уже вечерело, закат проложил на небе зеленые, оранжевые и пунцовые полосы, серый такыр подрумянился, и в этих предвечерних красках окрестный простор уже не казался таким голым и бесприютным.

Его совсем разморило, хотелось в постель, даже не ради сна, а чтоб уйти из этой долгой, мучительной яви, уйти от самого себя. Но в палатку идти он не решался: ему не хотелось никого видеть. Начнутся расспросы, еще заставят выпить в честь «боевого крещения», и тут он обязательно сорвется: слишком перенапряжены нервы.

Он пошел прочь от палаток, туда, где в голубой дымке надвигающихся сумерек чернели тонкие скелеты

буровых вышек. По пути ему попались сложенные в штабель старые ящики. Он прошел за ящики и прилег на приятно теплую дневным теплом землю. Розовые тужи облаков сплели на небе сложный узор и вдруг начали быстро, зримо таять.

Четунов знал, что ему надо обдумать события сегодняшнего дня, принять какие-то решения, но усталый мозг родил лишь одну коротенькую мысль: «Если все обойдется, я буду иначе жить». Он сразу заснул, будто провалился в темный погреб.

— Сергей Сергеич! Сергей Сергеич!

Четунов сквозь сон узнал высокий, детский голос помощника бурового мастера Савушкина. Он открыл глаза и удивился обступавшей его ночи. Низко над ним висело усеянное крупными звездами небо. Круглое лицо Савушкина казалось зеленым, как у русалки.

— Сергей Сергеич!.. — отчаянно зывал Савушкин. — Да проснитесь же! Прямо с ног сбился, а вы вон куда забрались. Вас к начальнику требуют.

Сбившись с ритма, больно заколотилось сердце; как на морозе, защипало кончики пальцев.

— Что за срочность такая? — растягивая слова, чтобы выиграть время, спросил Четунов и медленно поднялся. — У начальника есть кто?

— Там эти... как их... археологи приехали. Я краем уха слышал, будто они в сотне километров от нас надгробья какие-то открыли...

«Вот оно! — подумал Четунов, шагая рядом с Савушкиным. Сердце колотилось так сильно, что он отстранился от Савушкина, боясь, чтобы тот не услышал. — Все ясно — это вторая впадина! Иначе не к чему было начальнику так срочно меня разыскивать. Спокойно, спокойно! — твердил он себе, стараясь овладеть мыслями, которые стремительными скачками неслись вперед, к последней беде. — Видимо, они обследовали вторую впадину и наткнулись там на древнее кладбище. Ну, в конце концов я мог находиться там, когда их уже не было. Но надгробья! Не мог же я не видеть эти проклятые надгробья! Ах, если бы только знать, как они выглядят!»

Тщетно пытался Четунов вообразить их, он видел совсем иное: налитые кровью, гневные и насмешливые глаза начальника, злорадную усмешку на лицах товарищей и себя, жалкого, растерянного, лепечущего глупые, бессиль-

ные слова. Он так громко застонал, что Савушкин сдержал шаг и недоуменно посмотрел на него.

— Зуб, зуб болит... — пробормотал Четунов, берясь за щеку.

— Хотите, я вам йоду достану?

— Да, да... после...

Четунов затравленно оглянулся. В слабом ночном свете бледно светился черепаший панцирь такыра, а вокруг на тысячи километров простиралась пустыня. Но эта бескрайняя ширь была такой же темницей: некуда бежать, негде укрыться...

Все, что произошло вслед за тем, Четунов воспринимал как сквозь сорокаградусный жар. Он все видел, все слышал, отвечал на вопросы, и, кажется, впопад, но вместе с тем не знал, что из происходящего принадлежит яви и что — бреду.

Все было близким, осязаемым и в то же время страшно далеким, как паровозные гудки в ночи.

Когда он вошел, его встретили смех и громкие шуточные выкрики. «Вот оно, начинается», — отметил про себя Четунов, чувствуя, что рот его растягивается в напряженную, неестественную улыбку, от которой больно щекам. Затем его познакомили с какими-то странными людьми. У одного были длинные, страусиные ноги в узких белых брюках, маленькая взъерошенная голова, острая бородка; другой был молод — чуть старше Четунова, — круглолиц и страшно застенчив; он все время беспричинно краснел, потупляя глаза. У старшего оказался густой, рыкающий бас, совершенно оглушивший Четунова. В этом рыке Четунов все время слышал свою фамилию, и прошло время, прежде чем он сообразил, что речь идет не о нем, а об его отце. Затем, дергая себя за пучки мягких седых волос, этот странный человек что-то рычал о надгробьях и снова называл имя его отца; круглое лицо молодого покрывалось румянцем; а начальник смеялся и тяжелой рукой хлопал Четунова по плечу.

И Четунов понял, наконец, что открытие этих археологов подтверждает какую-то гипотезу его отца, который любил совать свой нос в чужие владения. Тогда он стал мучительно соображать, в какой мере это может облегчить его положение, и тут начальник заговорил о нем, о его сегодняшней экспедиции — и говорил что-то хорошее, доброе, потому что оба археолога казались очень

довольными. Молодой, улыбаясь Четуну, радостно краснел, а старший прогрохотал: «На то он и Четун, черт поberi!» Стало ясно, что открытие археологов не имеет никакого отношения ко второй впадине, все это произошло в совершенно ином месте, и все муки его, Четунова, были напрасны. Ему стало так обидно, что он едва не заплакал, а начальник вновь и вновь похлопывал, затем гладил его по плечу и советовал отдохнуть.

А затем все исчезло; Четун стоял один посреди густой ночи, и постуденевший ветер, словно мокрой тряпкой, охлестывал его потное лицо.

«Какой же я дурак, — стиснув пальцы, думал Четун. — Вообразить, что надгробья могут находиться внутри карстовой воронки! Такая нелепость не придет в голову даже малолетнему школьнику.

Нет, надо взять себя в руки, иначе черт знает до чего дойдешь. Завтра я начну новую жизнь...»

И он так ясно представил себе эту новую жизнь, что ему нестерпимо захотелось, чтобы скорей пришел завтрашний день. Он уже видел себя иным: прямым, честным в каждом слове, в каждом душевном движении, решительным, не ведающим ни страха, ни колебаний, таким отличнейшим человечинной...

Толкнув парусиновую дверцу своей палатки, Четун вошел внутрь. Горел ночник. Постель Стручкова была пуста — верно, он, по обыкновению, пропадал на буровых, а Морягин спал, уткнувшись лицом в подушку и тяжело сопя. На столике, под стеклянным колпаком, в той страшной духоте, какую он и сам сегодня познал, подыхала ящерица. «Почему я не освободил ее утром? Слабость, нерешительность, вот с мелочей все и начинается!» Четун посмотрел на рыхлую, смятую подушкой щеку Морягина, шагнул к столику и резким движением скинул банку. Упав на ребро, банка тренькнула, но не разбилась. Морягин чмокнул губами, как будто поцеловал подушку, и продолжал спать. Ящерица оставалась неподвижной. Свет ночника играл на ее глянцевитой, будто отлакированной коже, холодно и бледно отражался в мертвых бусинах глаз.

Четун шатнулся, как от удара в грудь, упал плашмя на свою кровать и заплакал.





СКАЛИСТЫЙ ПОРОГ

1

На восьмой день мы одолели перевал и оказались в долине, где раскинул юрты кочевой стан овцеводческой фермы.

Моими спутниками были геологи Борисенков и Хвощ. Борисенков, тучный и громогласный, всю дорогу либо восхищался «этакой красотшей», либо бранился на чем свет стоит, что его, старого аппаратчика, погнали в горы. Сухопарый, жилистый Хвощ лишь рассеянно улыбался в ответ на восторги и сетования своего товарища. Матерый поисковик, он был равно привычен и к красотам и к тяготам горного пути.

В долине, поросшей желтой люцерной и седоватой, жесткой, как щетина, травой, на высоте двух с половиной тысяч метров мы впервые услышали о Кате Свиридовой.

После ужина мы сидели на кошмах возле юрты заведующего фермой, старого почтенного таджика, курили и неторопливо беседовали.

— Это что же — дикорастущая люцерна? — спросил Борисенков, глядя на освещенное закатным солнцем пастбище.

— Нет, это Катюшина люцерна, — ответил молодой чабан по имени Карим. Под лисьей шапкой пряталось маленькое смуглое лицо с тонкими, как будто нарисованными тушью усиками и нежным персиковым румянцем на твердых, как камни, скулах.

— Катюшина люцерна? — повторил Борисенков. — Странное название!

— Почему странное? Катюша — это биостанция.

— Звучно, но непонятно! Там, что же, других людей нет?

— Постой, Карим, дай лучше я скажу товарищам, — вмешался заведующий фермой, заметив нетерпеливый жест Борисенкова. И он в нескольких словах поведал нам историю молодого биолога Кати Свиридовой.

Около двух лет назад высоко в горах, над долиной, поставили небольшую биостанцию. Поначалу там было трое научных сотрудников: пожилая супружеская чета Родионовых и двадцатидвухлетняя Катя Свиридова, незадолго перед тем окончившая институт. Прошлой зимой снежный обвал на несколько месяцев отрезал станцию от Большой земли. Не выдержав лишения, Родионова тяжело заболела. Когда весна согнала снега, Родионов увез со станции больную жену. На их место пришли двое — мужчина и женщина; имена не сохранились в памяти рассказчика. Разреженная атмосфера высокогорья оказалась не по силам женщине, у нее начались головокружения, и ее отозвали. Мужчина был крепок телом, но слаб духом. Он попросту бежал со станции, скрылся неизвестно куда. Катя осталась одна со своими яблоньками, опытным участком, лабораторией, с ветром-афганцем и ночными заморозками.

Мы еще поговорили и разошлись спать. Я лег на воздухе, завернувшись в овечьи шкуры. Я уже засыпал, когда кто-то тронул меня за плечо.

— Не спишь, друг? — услышал я над своим ухом голос Карима. — Я хочу тебе слово сказать. Вы на рудник пусть держите, да?

— Предположим...

— Тогда вам через Скалистый порог идти, другого пути нет.

— Ну и что же?

Я тщетно ждал ответа. Карим замолчал и молчал так долго, что у меня вновь начали слипаться глаза.

— Я был на Скалистом пороге! — с каким-то странным восторгом произнес вдруг Карим. — Первый раз был — мы строили станцию, и еще один раз был — весной. Наши опять пойдут туда осенью, а я не пойду. Нет, не пойду! — повторил он, словно удивляясь твердости своего решения.

— Что так?

Карим не ответил. Он отстранился в темноту, и, когда вновь оказался рядом со мной, в руке у него было письмо.

— Ты передашь Кате, да? Это не мое письмо, это снизу письмо. Катя очень его ждала.

— Передам, будь покоен.

Я протянул руку за письмом, но Карим не торопился мне его вручить.

— Дорога опасная, друг, а письма редко сюда приходят. Будь осторожен, как слеза на реснице.

Я заверил Карима, что приложу все усилия к тому, чтобы уцелеть и доставить Кате письмо.

— А обо мне ты ей ничего не говори, да?..

Светлые белки Каримовых глаз висели надо мной, словно два белых печальных цветка.

«Плохо твое дело, парень», — подумал я, пряча письмо в нагрудный карман куртки.

Желто-зеленая долина вскоре скрылась из виду. Дорога, все время круто забиравшая вверх, перешла в дорожку, а дорожка — в прерывистую, едва различимую каменистую тропку, повисшую над глубоким ущельем, изрезанным клыками скал. Далеко внизу ревела река, захлебываясь собственной пеной. Порой вровень с нами над ущельем проплывало тощее разорванное облачко. Задевая об острые отроги, облачко лохматилось все боль-

ше и, достигнув нависшей над ущельем исполинской скалы, таяло, умирало на ее каменистой груди.

Подчас нам приходилось ползти, цепляясь за выступы скал и шершавый мох. Мелкие осколки осыпались из-под наших локтей и колен, и Борисенков отдышливо ворчал:

— Помни, путник, от тебя до могилы один шаг.

Он столько раз повторял эту подслушанную у чабанов древнюю памирскую поговорку, что в конце концов настроился на меланхолический лад и даже перестал возмущаться дорогой. По правде говоря, и мне не раз казалось, что я обману доверие Карима и не доставлю письма. И только Хвощ оставался верен своему обычному хладнокровию и даже не забывал отбивать образцы горных пород. К этому занятию у него, старого поисковика, была какая-то ребяческая страсть.

К исходу дня мы благополучно достигли места намеченной стоянки в глубокой, защищенной от ветров расщелине. Мы скинули рюкзаки и повалились на каменистую землю, показавшуюся нам мягче пуховой перины.

— Теперь я понимаю, почему наш друг Карим так благодарил меня за то, что я согласился взять для Кати «совсем маленький» сверток, — сказал Борисенков.

— Значит, он и вас нагрузил? — рассеянно отозвался Хвощ.

— И меня? Ах, вот оно что! Ну и пройдоха! Выходит, — повернулся ко мне Борисенков, — Карим пощадил только вашу молодость?

— Не совсем так. Он, верно, считал, что у меня наилучшие шансы достичь Скалистого порога, и поэтому доверил самое ценное. — И я показал им краешек розового конверта.

— Вот оно что! — воскликнул Борисенков. — Уж не свадебные ли дары мы несем?

— Письмо не от Карима.

— От кого же?

— Не знаю, здесь нет обратного адреса. — И я пошел ставить палатку.

3

Лишь к вечеру следующего дня достигли мы Скалистого порога. Он появился неожиданно, после того как мы несколько раз с тревожным недоумением принимались разглядывать карту. Тропа опетлила скалистое двухол-

мие, повернула назад, и прямо перед нами открылся гладкий и чистый склон горы, внизу переходящий в широкий уступ. Посреди уступа стоял сложенный из камней дом с плоской крышей, отличающийся от обыкновенного памирского чода лишь дымоходной трубой. Несколько отступя, от дома тянулась невысокая, также сложенная из камней ограда. За оградой зеленели какие-то растения, пятна зелени покрывали и нижнюю часть склона, но отсюда трудно было решить, что это: трава, кустарник или низкорослые деревья.

И хотя станция казалась совсем рядом, мы еще долго блуждали по извивам тропы, прежде чем ступили на Скалистый порог.

Свежий шум воды стоял над площадкой. В стороне спытного участка на косо срезанной скале обрывалось русло текущего с верховий гор ручья. Вода плоскими струями ниспадала по каменной стенке в глубокую впадину, образующую подобие водохранилища.

В тощей тени порожка круглым булыжником лежала черепаха. Из двери выскочил щенок с мохнатой мордой и жалким, гладким тельцем. Он звонко затыкал, припадая на передние лапы и незаметно пятясь назад.

Его лай всполошил других обитателей станции. С паническим кудахтаьем из-за угла дома вывернулась смешная голенастая курица, а за ней, оглашая воздух отчаянным визгом, курчавый корейский поросенок. Получив подкрепление, щенок залаял еще отважней. Теперь он не просто пятился, а действовал наподобие челнока — скок вперед, скок назад.

— Эй, в доме! — крикнул Борисенков. — Собака не разорвет?

Никакого ответа. Щенок заходился так, что, казалось, вот-вот лопнет от собственного визга. Курица издавала звуки, похожие на «кукареку» молодого, начинающего петуха. Поросенок описывал вокруг нас круги и, охрипнув, хрюкал на басовых нотах. У него была удлиненная морда и рыло с горбинкой, что придавало ему сходство с диким кабанчиком.

В доме раздался грохот, будто с размаху опрокинули стул, затем быстрый постук каблуков по каменному полу, и в темном вырезе двери появилась молодая женщина с ружьем в руках. Она остановилась, с удивлением глядя на нас, затем рассмеялась:

— А я-то думала — гималаец! — И, прислонив ружье к двери, закричала: — Куш, Степа, куш! Тата, Кузя, молчать!

Зверье послушно угомонилось и сгрудилось у ее ног.

— Добро пожаловать, товарищи! Будем знакомы. Свиридова Екатерина Алексеевна, а лучше — просто Катя.

Мы поочередно пожали маленькую жесткую руку Кати. Эта сильная, огрубелая рука да яркий, как будто подернутый легким инеем румянец были единственными во всем облике Кати признаками, говорящими о ее горной жизни.

Катя была худенькая, стройная, очень городская. И одета она была по-городскому: голубой свитер, узкая шерстяная юбка, шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. И хотя эта одежда, несомненно, шла ей, Катя была похожа на девочку, которая в отсутствие матери нарядилась в ее вещи.

— Тьфу, какие мы небритые, старые, — проговорил Борисенков, с отвращением скребя щетинистую щеку. — Да, да, и вы стары, молодой человек! — накинулся он на меня. — В тридцать лет седые волосы, мешки под глазами!..

— Ну зачем вы так?.. — укоризненно сказала Катя.

— Да мы же рядом с вами — затертые пятаки. Вы такая свежая, нарядная, словно кого-то ждете..

— Жду? — Она слабо усмехнулась. — Да нет, просто сегодня воскресенье.

Курчавый поросенок подбежал к Хвощу и ткнулся пяточком в его ботинок.

— Куш! — прикрикнул Хвощ, по-журавлиному подняв ногу.

Поросенок недовольно хрюкнул, обнажив острый клычок...

— Кузя очень обидчивый. — Катя улыбнулась Хвощу. — Он наполовину дичок, от домашней матери и дикого отца. Да... я же не познакомила вас со своими друзьями. Это вот Тата, самая высокогорная курица в мире, нашего сторожа зовут Степа, а черепаху — Леда. Здешний климат Леде не по нутру, она совсем не выходит из своего домика. А вон и Графиня пожаловала! — Катя показала на огромного плешивого гималайского

сипа, который, взмахивая тяжелыми, метра три в распахе крыльями, усаживался на скалистый торчок. — Графиня тоже почти член нашего коллектива, только она предпочитает держаться несколько в стороне...

Я слушал Катю со смешанным чувством симпатии и разочарования. Образ одинокой горной жительницы, который невольно сложился у меня еще в долине, развеялся без остатка. Я вдруг необычайно отчетливо представил себе Катю в коричневом форменном платье с белым наглаженным воротничком, в черном фартуке и • черной ленточкой в косах — живая, смешливая школьница, воспринимающая жизнь бессознательно, а потому и легко.

Но уже через короткое время мне пришлось сознаться, что я плохо представляю себе характер этой девушки.

Мы прошли в дом, сложили в угол поклажу, после чего Борисенков и Хвощ вручили Кате подарки Карима — урюк и козий сыр, которые Катя приняла с благодарностью, но без всякого удивления, словно была уверена, что мы не явимся без них. Впрочем, оказалось, что доставка подобных даров — нечто вроде пошлины, которую Карим налагает на всех путников, следующих к Скалистому порогу. Таким же способом попали сюда и все зверушки, кроме Кузи, доставленного самим Каримом. Не знаю, какое безотчетное чувство помешало мне тут же передать Кате письмо. Но я достал его, лишь когда мои товарищи пошли во двор умываться.

— Письмо? От Карима? — сказала Катя, и выгоревшие кустики ее бровей сурово сдвинулись к переносью. Но, видимо, в следующую секунду она узнала неровный, размашистый почерк, каким был написан адрес. Щеки ее жарко вспыхнули. Но этот мнимый румянец был вызван бледностью, залившей ей лоб, виски, глазницы и по контрасту сделавшей более яркими пятна на щеках. И тут же она овладела собой, спокойно, почти небрежно взяла письмо, мельком глянула на конверт и положила на стол рядом с бледно-желтым восковистым цветком.

— Вы сейчас будете бриться или раньше пойдете умоетесь? — спокойно и безмятежно прозвучал Катин голос.

И я подумал, что худенькая, похожая на школьницу девушка — сильный человек.

Через полчаса, выбритые и чистые, мы с азартом насыщались консервированным мясом с настоящим вареным картофелем и говорили сразу обо всем: о Памире и Цимлянском гидроузле, о гнездовом посеве и Тунгузском метеорите, о новых книгах и кинокартинах, даже об Александре Македонском, который почему-то подвернулся нам под руку.

Вскоре выяснилось, что Катя так же, как и мы трое, москвичка, и разговор наш, конечно, пришел к тому, к чему неизбежно приходит разговор всех москвичей на чужбине, — к Москве.

Мы, правда, не могли рассказать Кате ничего нового ни про университет, ни про Арбатское метро — мы почти в одно время с ней покинули столицу; но даже самые названия московских улиц доставляли ей радость. Некоторое время мы, словно кондуктора, наперебой выкрикивали: улица Горького!.. Охотный ряд!.. Новинский бульвар!.. Чистые пруды!..

Катю чуть не до слез тронуло то, что Хвощ живет на Малой Басманной: она родилась на соседней—Рязанской улице; а когда я назвал мой родной Сивцев Вражек, я думал, Катя меня поцелует — она кончала школу в Старо-Конюшенном! И Борисенков получил свою долю восторгов за то, что обитал в одном из переулков близ Матроской Тишины: у Кати там жила тетка.

— Какие вы хорошие! — растроганно говорила Катя после того, как были вспомнаны даже самые глухие тупички-закоулки. — Ведь сколько к нам народу заходило — и хоть бы один москвич!

— Вот не думал, что Скалистый порог — такое посещаемое место! — с сомнением проговорил Борисенков.

— Правда, правда! В прошлом месяце охотник на беркутов заходил, а в позапрошлом — целая партия геологов. Пограничники раз навевывались. Я их, помню, дыней угостила, единственной, какую мне удалось вырастить. Только, — добавила Катя со вздохом, — ее пельзя было есть. По вкусу она напоминала прокисшую бумагу. Тут ведь никогда не знаешь, что вырастет. Но это даже интересно. Мне иногда кажется, что мы вырастим такое, чего во всем мире нет! — Катя засмеялась, затем сказала с надеждой в голосе: — А вам не хочется станцию посмотреть?

Но пока мы собрались и вышли из дому, по земле уже растекся сумрак, смазав контуры отрогов и скал, словно сизым дымом окутав Скалистый порог. Из-за шатра Святой горы выползла бледная щека луны. И только небо светлело нежной дневной голубизной.

Мы быстро шагали следом за Катей, но у ночи в горах еще быстрее поступь.

Нежданно из темноты выступила фигура человека. Я невольно вздрогнул: почему-то мне представлялось, что Катя — единственная обительница Скалистого порога.

Высокий, страшно худой старик, чуть надломленный в пояснице, казалось, висел на своем длинном посохе.

— Арабшо! — ласково сказала Катя. — Познакомьтесь, товарищи: Арабшо Гульчиев, наш водолей, хранитель и повелитель воды.

Старик снял ветхий тюбетей и с достоинством поклонился. Все его лицо состояло из черных теней: черные ямы глазниц, черные вырубь морщин на лбу и щеках; даже редкая по пояс борода казалась тенью настоящей бороды, но светлой, серебристой.

— Арабшо — чудесный человек, — говорила Катя. — У него только один недостаток — ни за что не хочет жить в доме. Ему душно. Он всю жизнь близ воды, даже в морозы, когда вода замерзает. Но это не мешает нам очень любить друг друга. Если вам хочется что-нибудь спросить Арабшо, то говорите, пожалуйста, громче, он не совсем хорошо слышит.

— Дедушка, как дела? — заорал Борисенков, сложив ладони рупором.

Еще одна маленькая полукруглая тень возникла на лице старика между бородой и усами; тихий, как шелест камыша, голос тронул слух незнакомой речью.

— Арабшо говорит, что доволен жизнью. Он желает вам счастливой дороги, — перевела Катя.

— Простите, — смущенно проговорил Хвощ. — Я немного знаю язык... Мне кажется, он сказал: в Ишине режут баранов.

Катя нежно посмотрела на старика:

— Он, верно, не расслышал, он совсем старенький, Арабшо...

А старик, не подозревая, что речь идет о нем, снова приподнял тюбетей и повдвинулся куда-то в сторону, с трудом волоча по земле свою длинную тень...

Кругом была ночь, и сложенная из камней изгородь вокруг опытного участка охраняла лишь клочок тьмы.

— Вон там делянки картофеля, — упавшим голосом сказала Катя. — А там огурцы, они почему-то плохо растут. А вон там, дальше... да нет, все равно ничего не видно...

— Отчего же? — бодро сказал Борисенков. — Вот, кажется, яблоня... — И он указал на смутно белевший во тьме скелет дерева.

— Да, но здесь яблоньки все померзли. А зато на склонах растут себе и растут, будто отроду привыкли! — И, оживившись, Катя принялась рассказывать нам, почему в здешних местах одни и те же растения не выживают на плоских участках и отлично чувствуют себя на кручах и как это важно в горном Бадахшане, где мало ровной земли и сколько угодно склонов.

Показывая то туда, то сюда, во тьму, Катя увлеченно поведала нам о смородине, которой оказались не страшны ни заморозки, ни разносчик смерти — афганец; о груше, которая — хоть убейся — не хочет расти; о диких лекарственных травах, укрывшихся в такую непролазь от человека, которому они обязаны помогать.

И пусть мы не увидели ни Аптечной горы, как окрестила Катя взгорбок, богатый целебными травами, ни отлично принявшегося картофеля, ни цветущих на крутизне и умирающих на равнине яблонь, ни спаленных морозом кустов смородины, ни смородинника с большим будущим, — мы видели ее, Катю Свиридову, труженицу и хозяйку будущего.

Б

Мы долго не ложились в эту ночь. Настроили рацию и, поймав какой-то вальс, поочередно танцевали с Катей. Затем мы упустили волну, но Катя уверила, что танцевать можно подо что угодно, даже под сводку погоды. И мы так и делали, пока Катя не испугалась за аккумуляторы. Тогда мы стали отплясывать под марши, которые Хвоц ловко выбивал на стаканах и мензурках. А потом Катя вспомнила, что ей еще надо обработать вчерашние материалы, и погнала нас спать.

Борисенков и Хвоц устроились в комнате, которую прежде занимали Родионовы, мне же Катя постелила в

маленьком чуланчике при лаборатории, где хранились лопаты, кирки, кетмени, но было так же чисто и опрятно как и повсюду в доме.

Перед сном я вышел покурить. Небо набито звездами. Прямо над головой, нанизанные на незримый стержень, блестят Три Волхова. Мглисто мерцают снежные вершины, как будто звезды присыпали их своим сияющим веществом. А луна уже отвалилась к Афганистану и, став чужестранкой, холодно и отчужденно глядела на Скалистый порог своим единственным подслеповатым оком.

На земле черным-черно, лишь слюдяно посверкивает прихваченная ночным заморозком лужа возле рукомытника.

Станный, как будто поднявшийся из недр земли холод полоснул под самое сердце. Казалось, горы, истомленные собственной ненужной тяжестью и многолетьем, исторгли из себя этот мертвенно усталый ледяной вздох. И так тоскливо и одиноко стало мне вдруг, что, поспешно погасив папиросу, я вернулся в дом.

Катя работала при свече. Она что-то вписывала в черную клеенчатую тетрадь, близоруко пригнув голову к столу.

Я пожелал ей спокойной ночи.

— Спокойной ночи.— Катя медленным движением отмахнула назад волосы. Острое пламя свечи мерцало в темных зрачках Кати двумя далекими ночными огоньками. Быть может, это и придало ее взгляду какую-то новую, тревожную глубину.

Я тихо прошел в чуланчик, улегся на кошмы и попытался заснуть. Где-то рядом за стеной курица Тата разговаривала с поросенком Кузей. Вначале беседа шла мирно и кротко, затем они поссорились, и Кузя яростно обхрюкал Тату. Некоторое время курица взволнованно бегала по закутку, стуча лапами; затем все звуки исчезли, я заснул.

Но, привыкнув за последние недели к ночевкам на открытом воздухе, я и сквозь сон чувствовал давящую тесноту чулана. Я ворочался, то натягивал, то сбрасывал одеяло и, наконец, проснулся.

Было довольно светло, и в первые секунды я не мог сообразить, откуда льется этот неяркий, колеблющийся свет. Приподнявшись на локте, я увидел, что в комнате на столе горит свечной огарок, загороженный книгой. Над

столом склонилась Катя. Она плакала. Плакала так, как плачут дети: головой, плечами, руками. Своим прерывистым дыханием она колебала пламя свечи, по стенам то и дело проносились рваные черные тени; казалось, что комната вращается вокруг Кати.

Мне было так неожиданно и странно видеть Катю плачущей, что я растерялся, не зная, что говорить, делать. А затем я увидел близ ее локтя клочок знакомого розового конверта и понял, что мне нечего ни делать, ни говорить.

«Вот только когда начинается для нее одиночество», — подумал я и осторожно натянул одеяло на голову.

6

Утром нас ожидал на столе завтрак, но самой хозяйки не было в доме. Верно, она ушла на участок.

— Значит, мы не увидим Екатерину Алексеevну, — покорно вздохнул Хвоц и принялся за еду.

Борисенков был менее сдержан в своем огорчении.

— Безобразие! — ворчал он, сердито отщипывая кусочки хлеба. — Неужели нельзя было разбудить? — Он отрезал огромный ломоть, намазал его маслом и закричал: — Степка, Степа, поди сюда, подлец!

Но щенок не отзывался. Верно, и он ушел со своей хозяйкой. Тщетно звал Борисенков Кузю и Тату. Из всех обитателей дома оставалась лишь одна вечно спящая Леда.

И все же, когда мы уже собирались тронуться в путь, Катя пришла нас проводить. В руках она принесла десятка два довольно жалких, кривых огурчиков с бородавчатой кожей.

— На дорожку, — сказала Катя.

На плечах у нее старенький ватник, на ногах кирзовые сапоги, голова обмотана платком, но даже в этой скромной рабочей одежде Катя кажется нарядной — так горят ее накаленные утренним подморозком щеки.

И все же сегодня она совсем другая, чем накануне. Быть может, виной тому ее глаза: запавшие, красные, страдальческие.

— Что с вами, Катюша? — участливо спросил Борисенков. — Вы нездоровы?

— Нет, что вы!.. — Слабая, далекая улыбка тронула Катины губы, и я почувствовал, что она пытается растянуть эту жалкую улыбку, прикрыться ею. И Кате это почти удается, улыбка становится большой, настоящей, если б не глаза: с ними ничего не поделаешь.

Начинается прощание. И какими же бедными кажутся мне обычные слова расставания!

«Неужели мы так и уйдем? Мои товарищи ничего не знают, но ведь я-то знаю! Пусть я не могу ей помочь, ей никто не может помочь. Но как же так — знать о беде человека и молча пройти мимо?..»

— Счастливого пути!..

— Счастливо оставаться!..

И Борисенков с Хвощом, стараясь держаться особенно молодцевато, шагают прочь от станции.

Лямки моего рюкзака никак не затягиваются, они словно нарочно задерживают меня тут. Катя стоит рядом.

— Вы простите меня, Катя... Я знаю, что не имею права... Я вас очень уважаю, но если б я... если б вы могли...

— О чем это вы? — сказала она холодно, и я почувствовал, что она вся подобралась, сжалась, готовая к отпору.

— Мне не спалось сегодня ночью...

— Это с непривычки, — прервала она с короткой, недоброй усмешкой. — Я спала как убитая.

— Простите, — пробормотал я и нагнул за мешком. Мне было тяжело и чего-то стыдно.

— Нет, постойте, — вдруг сказала Катя. — Раз уж вы знаете... Я не хочу, чтоб вы считали меня дурой-девчонкой, у которой глаза на мокром месте. Здесь все гораздо серьезней и печальней. — Она провела рукой по лицу, будто сняла невидимую паутину. — Этот парень, который ушел... бежал со станции — вы слышали о нем?

— Слышал... да, — ответил я удивленно.

— Мы вместе учились в институте. Легкомысленный, слабый, он не уважал ни своих способностей, ни своей профессии. Я добилась, чтоб его назначили сюда. Мне казалось — здесь он станет другим. Но ему было скучно. Скучно без людей, без шума, без города. И он ушел. Тайком... Мне удалось узнать, где он находится. Я написала ему, чтоб он вернулся, что я все улажу. Он не ответил. Я снова написала. Написала, что все прощаю, что верю

в него. И вот дождалась ответа. Он не придет, он отказывается... Отказывается от всего, понимаете — от всего!.. — Она задохнулась, проглотила воздух звучно, словно глоток воды.

— Ну что вы, Катя, не надо! Есть из-за чего умирать! Из-за этого... человечешки!

Катя устало посмотрела на меня:

— Так ведь я же его люблю...

* * *

Тропа петляла среди дикого нагромождения скал, и площадка станции то исчезала, то появлялась вновь, порой в отдалении, порой до странности близко, как будто тропа возвращалась вспять и вдруг оказалась где-то совсем далеко внизу — крошечный, оттененный зеленою пятючок среди мертвого серого камня. Сейчас она совсем скроется из глаз. Я остановился и достал полевой бинокль.

Катя сидела на приступке своего дома, подперев лицо руками, и что-то говорила расположившимся вокруг нее щенку Степе, поросенку Кузе, курице Тате, черепахе Леде и усевшейся чуть в стороне старой, сутулой Графине. Быть может, с этими бессловесными друзьями решала она, как жить дальше.

● ● ●



НОЧНОЙ ГОСТЬ

1

Он появился поздно вечером, почти ночью. Распахнулась дверь, черный вырез ночи дохнул холодным ветром, метнулись по стенам тени, будто все предметы, находившиеся в горнице, враз качнулись от двери, и этим порывом ветра внесло его сухощавую, грациозную фигурку в коротком пальто и узеньких брюках в полоску.

В самом его появлении в нашей озерной сторожке не было ничего удивительного. В пору ранней весны округ Плещеева озера каждое жилье, будь то даже сарай-развалюха или полузатопленная талой водой землянка, привлекает к себе рыболовов. К тому же домик наш стоял на самом берегу озера, неподалеку от устья небольшой

речушки, куда ходит нереститься плотва. Так и сам я забрел сюда с неделю назад, привлеченный ласковым светом двух маленьких окошек за густым плетеньем ольховой заросли. Так пришел сюда и мой сосед по кровати, пожилой, неразговорчивый Николай Семенович, матерый рыболов. Да и множество другого народа перебивало тут в эти дни. Но все являлись как-то иначе. Каждый новый гость сперва долго топтался в сенях, сбивая грязь с сапог, отряхивая мокрую одежду; жестяно шуршал тяжелым, негнушимся плащом, освобождаясь от этой неременной принадлежности истинного рыболова. На шум выходила в сени со свечным огарком хозяйка избы, бабка Юля, защищая ладонью тощий язычок пламени. После короткого сговора дверь отворялась, и сперва показывались удилица, сачки и другие предметы рыболовного промысла, а затем и сам владелец снасти, намерзший, надрогший, с красным от ветра лицом. Сложив снасть в угол и улыбнувшись самовару, который вечером не сходил у нас со стола, рыболов басил:

— Чай да сахар! — выкладывал свой припас и начинал дуть чай стакан за стаканом.

Но этот поздний гость возник без всякого шума, без всякой подготовки и совсем налегке, его словно внесло в избу порывом ветра, как заносит прелый лист, бумажку, сухую былинку. Да и весь он в своей легкой городской одежде производил впечатление какой-то летуности, незаземленности.

Впрочем, гость сразу объяснил причину своего несколько странного появления. Он ехал с компанией на машине в район Нерли, ловить окуней. Но какой-то прохожий сказал им, что дорога туда прескверная — колдобины, грязь да топь. «Ну, ведь я-то ехал рыбу ловить, а не таскать на себе машину», — с улыбкой пояснил гость. И когда он заметил огоньки нашей избы, то покинул приятелей, пусть мытарятся, если им это угодно, он и здесь половит за милую душу.

— Чем же вы собираетесь ловить? — спросил гостя Николай Семенович. — Штанами?

В его вопросе отчетливо сквозила неприязнь. Это меня удивило. За неделю, проведенную с ним, я убедился, что мой сосед совершенно безучастен ко всему, кроме рыбы. Он ни с кем не вступал ни в какие отношения: ни с хозяевами, ни со мной, ни с заходящими рыбаками. Он ло-

вил рыбу, и только. Пожилой, лет под пятьдесят, крупный, грузный, сизоликий, с бровями, похожими на усы, он умудрялся быть как бы невидимым. Мы сразу объединили с ним наши припасы, спали на одной кровати, вместе ходили на рыбалку, вместе мерзли и цепенели на ветру, но я не знал ни его профессии, ни где он работает, ни где живет. Знал только, что в обществе «Рыболов-спортсмен» он является консультантом по судакам. Это особое свойство человеческого общения на рыбалке и охоте. Человек может поделиться с тобой последним (кроме, правда, наживки и патронов), может, рискуя собственным здоровьем, вытащить тебя из ледяной воды, но ты иной раз даже фамилии его не узнаешь. Да и к чему знать — все равны перед лицом бога охоты.

Услышав эту резкую фразу, прозвучавшую из затененного угла комнаты, гость растерянно повел шеей, будто ему сразу стало душно, и что-то детски беспомощное мелькнуло в его голубых, чуть навывкате, глазах.

— Неужели ни у кого не найдется лишней удочки? — проговорил он подавленно.

Кроткая голубизна его взгляда мгновенно решила дело: я тут же предложил ему на выбор одну из своих удочек. Он выбрал гибкое, недлинное удилище с капроновой леской, поплавком-перышком и маленьким, острым крючком.

— Если б вы дали мне еще один крючочек... — сказал он жалобно. — Они так легко обрываются...

И этого добра у меня было достаточно: я дал ему запасную леску с крючком, поплавком и грузилом и еще несколько крючков разных размеров. Гость сразу повеселел и, воскликнув: «Мир не без добрых людей!» — быстро разделся, оставшись в байковой с кожаной спинкой куртке, немного поношенной, но изящной.

Да он и сам был недурен: стройный, сухощавый, с зачесанными назад темными, длинными волосами и хорошего рисунка костистым носом. Портил его лишь рот — слишком маленький и узкогубый, похожий на сборчатый шов, он придавал его лицу что-то старушечье. Но когда гость улыбался, то открывал два ряда крепких белых зубов. Возраста он был неопределенного: от тридцати до сорока. То ли хорошо сохранившийся зрелый мужчина, то ли несколько поизносившийся молодой человек.

Освоившись и приглядевшись к полутьме, — комната

освещалась слабенькой керосиновой лампой, — гость воскликнул:

— Да тут настоящая библейская обстановка! Только старые голландские мастера умели передавать эту чудесную тесноту людей и животных!..

В сторожке и в самом деле было тесно. На пространстве в двадцать квадратных метров, из которых добрую треть отхватила русская печь, помещались: старуха хозяйка, ее старшая дочь с тремя детьми и мы, постояльцы. В закутке, за фанерной перегородкой шумно дышал теленок; две голенастых курицы и петух без хвоста бродили между горшками и чугунками, громко стуча лапами.

— Чудес-ную! — подхватила восклицание гостя бабка Юля. Она стояла у печи, склонившись над закипающим самоваром, и в полутьме было видно, как блестят ее неостуженные годами черные, горячие глаза. — Тоже сказал — чудес-ную!.. — и старуха рассмеялась, отчего все морщины запрыгали на ее лице.

В лад матери тихонько засмеялась и ее дочь, Катерина. Она лежала на постели, укрывшись до подбородка лоскутным одеялом. Глядя на мать и бабуку, засмеялись дети.

— Мы все характерные, потому и выдерживаем... — продолжала старуха. — Другой кто поди давно бы зачах!.. — и она снова рассмеялась, щедро, до слез.

Я уже знал, что сейчас она примется рассказывать о том, как очутилась вся ее семья «в тесноте, да не в обиде»: этой историей она делилась почти с каждым новым постояльцем, видимо находя в ней какое-то свое удовлетворение.

Этот домик достался бабке Юле от ее покойного мужа, озерного сторожа. До недавнего времени она жила тут лишь с младшей дочерью Любой, — Любы сейчас не было дома: она поехала на велосипеде проведать своего милого, служившего в расположенной неподалеку саперной части. Старшая дочь Катерина стояла с мужем на квартире в торфгородке. Словом, жили просторно. Но около года назад муж Катерины сошелся с одной женщиной из поселка, и Катерина, узнав об этом, забрала детей и переехала к матери. Все бросила: и квартиру, и хозяйство, и имущество. Стала работать укладчицей шпал на узкоколейке. До места работы — пять километров пешком, и столько же назад. Муж, верно, думал,

что ей долго не выдержать, и до срока крепился. А как понял, что решение ее твердо, так прощения запросил. Но Катерина к нему, как глухая...

Когда бабка Юля дошла до этого места в своем рассказе, гость испуганно вскинул веки с редкими ресницами и воскликнул:

— Ну, это слишком! Я бы на ее месте вернулся!

— Так она ж — характерная! — радостно сообщила старуха. — Ничего, покуда потерпим, а там, гляди, еще наживет палаты каменные! Верно, дочка?

Катерина не ответила, она только засмеялась и плотнее закуталась в одеяло.

— Значит — лопни, но держи фасон! — сказал гость.

— Правда твоя! Ах, веселый гость!.. Как звать-то? — спросила старуха, утирая слезы кончиком головного платка.

— У меня, бабушка, имя простое, а без зубов не выговоришь. Зови меня Пал Палычем...

— Будь так! А работаешь кем?

— А ты, бабушка, любопытная, — с мягкой улыбкой ответил гость. — Гляди, самовар-то убежит...

— И то правда! Присаживайся к столу, Пал Палыч, чайку горячего попить! — и сильным движением оторвав от пола поспевший, тонко свистящий самовар, старуха поставила его на стол.

— Чаек — вот чудесно! — радостно сказал Пал Палыч. — И вас угощу!.. — Он достал из кармана фунтик с конфетами и стал обносить всех присутствующих. — «Золотой ключик», я ужасно люблю конфетки. Берите, бабушка, берите и ребятишкам дайте. Хватай, карапуз!.. — Потом подошел к Николаю Семеновичу, сумрачно дымившему в углу. — Возьмите пососать — лучшее средство против курения!..

— А я не собираюсь бросать курить, — не очень-то любезно отозвался тот.

— Вольному воля! — добродушно сказал Пал Палыч и широким движением высыпал оставшиеся в кулечке конфеты на стол.

— Налетайте! — еще раз обратился он ко всем в горнице.

Не вызывало сомнений, что, кроме этих конфет, у него не было ничего съестного. Он так щедро и легко поделился последним, что нельзя было оставаться в долгу.

Я не стал спрашивать разрешения у моего напарника и выложил на стол все наши припасы: консервы, корейку, охотничьи сосиски, масло и сахар.

— Ох, как славно! — радостно потирал руки Пал Палыч. — Ну, хозяйшкы, к столу!

— Кушайте, мы опосля, — ответила бабка Юля.

— Никаких разговоров! — решительно воспротивился Пал Палыч. — Иначе мы тоже не будем!..

Почему-то так повелось, что хозяйева ужинали после нас. Мы думали, что им так удобнее, и не пытались изменить заведенный порядок. Но видя, как охотно поддалась на уговоры Пал Палыча бабка Юля, с какой веселой готовностью подвинула она табурет к столу, я усомнился в справедливости прежнего порядка. Катерина тоже не заставила себя долго упрашивать: она быстро вынесла из постели свое небольшое, легкое тело, неуклюжими движениями оправила платье, пригладила волосы и села к столу.

Пал Палыч достал из кармана ножик и принялся ловко намазывать бутерброды. Отхлебывая из блюдечка, которое она держала в растопыренной пятерне, бабка Юля делилась с отзывчивым гостем обстоятельствами своей жизни.

— Корову-то мы о прошлый год купили. Недорого дали, а стельную. Нам она ни к чему, да ведь, понимаешь, ребята в доме, — говорила старуха, посверкивая своими удивительно живыми, молодыми глазами. — Хлевушко для нее кой-какой сложили, а теленочку-то стать некуда, вот и пришлось потесниться. Был бы мужчина в доме, а то ведь у баб к плотницкому делу таланту нет. Да это, я тебе скажу, ничего. Горсовет обещал Катерине насчет стройки подсобить. Ты к нам через годик приезжай, обязательно приезжай, увидишь, как мы тут заживем. Правда, Катюша?

Катерина, по обыкновению, только рассмеялась в ответ частым, тихим, застенчивым смешком и отвела взгляд. В ее молчаливости, сдержанности, в ее легко срывающемся с губ смехе чувствовалась цельная и свежая натура.

— Так приедешь? — снова сказала бабка Юля, будто речь шла о неотложном деле.

Но Пал Палыч уже не слушал. Словно зачарованный глядел он в окно на черную громаду озера, оживающую

пучками ярко-рыжего огня. Огни медленно плыли над озером, будто подвижные, летучие костры.

— Что это за таинственные светильники? — спросил Пал Палыч.

— Да мужики с «лучом» пошли, — ответила бабка Юля.

Рваное, косматое пламя возгорелось неподалеку от нашего дома. Пламя отделилось от земли, поднялось на воздух, заметалось длинными языками и вдруг, точно смирившись, сникло, подобралось вокруг незримого стержня и засияло сильным и ровным факелом. Под ним вычернились две фигуры: мужчины и подростка. Они медленно двигались по черной, маслянистой воде, и вскоре стало видно, что огонь несет подросток на длинном шесте, прижимая конец шеста к животу. Отблеск огня ложился на воду нешироким красноватым кругом, и в этот круг, в свет, то и дело бил острой мужчина. Мерной, торжественной поступью прошли они мимо окон и скрылись из виду.

— Послушайте, в этом есть что-то мистическое! — восторженно сказал Пал Палыч. — Можно подумать, что они справляют какое-то ритуальное действие!.. Ах, как мне хотелось бы попробовать!..

— А зачем дело стало? — весело сказала бабка Юля. — У нас и острога есть, правда редкая, на шуку, да ничего — плотва нынче крупная и «козу» я давеча на чердаке заметила. А смолья в сенях хоть завались, я его для растопки очень уважаю.

— Ну давайте, давайте же организуем это! — захопал в ладоши Пал Палыч.

Я редко встречал такую живую и отзывчивую старуху, как бабка Юля. Чтоб угодить приглянувшемуся гостю, она поставила на ноги весь дом. Уже Катерина тащила с чердака старую ржавую «козу» — металлическую клеть, закрепленную на длинном шесте; уже старшая дочка Катерины носила в подольце из сеней смолье — мелко рубленное сосновое корневище; а сама бабка Юля резала кухонным ножом старую калошу, которую всегда подкладывают в смолье для крепости пламени. Через несколько минут все было готово, острога направлена, коза до отказа набита смольем и кусками калошной резины. И тут выяснилось, что Пал Палычу не в чем идти на промысел. Он сам с комически-горестным

видом обратил внимание на это печальное обстоятельство.

— Эка беда! — усмехнулась бабка Юля. — Вон у Николая Семеныча запасные сапожки есть!

У Николая Семеновича, верно, имелись сапоги-штаны из прорезиненного шелка, которыми он никогда не пользовался, предпочитая им обычные кирзовые с подшитыми резиновыми ботфортами. В ответ на нашу просьбу он буркнул: пожалуйста, и Пал Палыч облачился в эти оригинальные и легкие сапоги на толстых каучуковых подошвах, изящно обмотав их крест-накрест шнурками.

Бабка Юля заставила его надеть порядком засаленный, но теплый ватник, сама навесила ему на шею мешок для рыбы.

И тут наш поход едва не сорвался.

Пал Палыч уже взял в руки острогу, я поднял тяжелую и неудобную «козу», как вдруг дверь распахнулась и с велосипедом на плече в избу вошла младшая дочь бабки Юли, Люба. На ней, как и обычно, был толстый ватник, голова закутана в шерстяной платок, обернутый вокруг шеи, на ногах мягкие козловые сапоги, засунутые в калоши. Люба поздоровалась, подвесила велосипед на крюк, скинула сапоги, сняла ватник, быстрыми, привычными движениями размотала и кинула на печку платок — и вышла из всей своей грубой одежды, как бабочка из кокона. Это было одно из маленьких чудес нашей здешней жизни. Стройная, крепкая, с нежным и каким-то лениво-дерзким лицом, Люба была такая красивая, что когда она просто глядела на тебя или улыбалась, то хотелось благодарить ее, как за услугу.

Пал Палыч отставил острогу.

— Послушайте, — сказал он серьезно и проникновенно, — вам надо жить в Москве!

— Нешто в одной Москве люди живут! — лениво усмехнулась Люба. Она знала нечаянную силу своего очарования и привыкла ничему не удивляться. — Нам и здесь хорошо!

— Хорошо — говоришь? — ворчливо отозвалась бабка Юля. — А сама на целину собираешься!

— И поеду! — с вызовом сказала Люба. — Дождусь Василия — вместе поедем!..

— Нет, такой девушке место только в Москве! — убежденно повторил Пал Палыч.

— Тоже скажете!.. — протянула Люба и пошла за печь попить воды из кадки. Пал Палыч последовал за ней.

— Ваш дом полон неожиданностей, — слышался его взволнованный голос. — Мне кажется, я попал в сказку! — Вы — прелестная маленькая фея...

Люба не давала себе труда быть находчивой. На все это витийство она в промежутках между глотками — вода была студеная — отвечала протяжно:

— Тоже скажете!..

— Теперь я убежден, что не случайно бросил машину, товарищей, увидев огоньки вашего дома. Меня толкнула какая-то неведомая сила. Можно подумать, что где-то в подсознании я знал, что встречу вас...

— Эй, молодой человек! — слышался громкий голос Николая Семеновича. — Вы, кажется, острожить собирались. Вас ждут!..

Пал Палыч высунул голову из-за печи.

— Да... да... — произнес он рассеянно. — Иду, иду... Мы ведь еще увидимся? — нежно сказал он Любе.

— А как же, раз вы у нас остановились, — ответила Люба, выходя из-за печи.

— Что — нахлебалась воды-то? — по-прежнему ворчливо сказала бабка Юля: ее сердили ежедневные поездки Любы к саперу. Но мне почему-то казалось, что старуха сердится только для виду, а в глубине души так же гордится самоотверженностью Любы, как и Катиной стойкостью, видя и в том и в другом проявление столь отрадной ее сердцу семейной характерности.

— Как вы думаете — она, девушка или женщина? — спросил меня Пал Палыч, когда мы вышли из дому.

Вопрос мне не понравился, и я сделал вид, что не слышу.

— Вы не подумайте плохого, — поспешно заверил меня Пал Палыч. — Это такое прелестное существо!.. У нее кто-то есть, насколько я понял?

Я ответил, что у нее есть жених, сапер, и что она каждый день ездит к нему на велосипеде за двенадцать километров.

— И это, заметьте, после работы...

— Старуха, кажется, не очень к нему благоволит?.. — задумчиво проговорил Пал Палыч.

Мы подошли к воде. Озеро казалось бескрайним, хотя многочисленные «лучи» метили другой берег цепочкой огней. Я чиркнул спичкой и запалил смолье. Оно занялось не сразу. Огонек бегал с чурки на чурку, вдруг исчезал, будто проваливался внутрь костра, затем пробивался одновременно в нескольких местах; вскоре мелкие язычки сложились в один плотный сноп, зашипела, завоняла резина, пустив порошковую искру, ярко-рыжим вихрем выметнулось и забило на ветру пламя, и сразу будто отсекло окружающий простор: непроглядная чернота обстала нас, как стеной. Мы вошли в воду. В крошечном зримом, с пятачок, пространстве — лишь тяжелая, густая, как мазут, вода, да редкие прутьики затопленных вешним разливом кустов. Из «козы» в воду звездами сыпались искры, а из темной глубины навстречу им, в небо, летели другие искры.

Глаз вскоре обвыкся, и вода стала прозрачной. Зажелтело песчаное дно в перламутровых шелушинках, тонких, дрожащих водорослях, то гладкое, как ладонь, то похожее на стиральную доску, то заросшее какими-то подводными цветочками, и вот первая плотвица повисла в пятне света тонким серым жгутиком.

— Бейте! — шепнул я Пал Палычу.

Он ударил. Крупная плотвица, блеснув серебристым боком, — будто подкинулось в воде зеркальце, — метнулась в сторону, ударив меня по сапогу.

— Слишком широко расставлены зубья, — заметил Пал Палыч. А я с тоской подумал, что даром протаскаю за ним тяжелую «козу», от которой у меня уже ломило поясницу. Обращение с острогой требует навыка, ловкости, терпения и быстрого отклика, и трудно было предположить, чтобы новичок обладал всеми этими качествами.

Но вот опять, будто причалив носом к камышинке, повисла в воде плотвица, а рядом, под прямым углом к ней, вторая. Я не успел крикнуть, как Пал Палыч ударил, да так сильно, что зарыл острогу в дно, взмутив песок.

— Я не учел угла преломления, — сказал он спокойно.

Он освободил острогу, но не вынул ее всю из воды. И это было правильно, потому что в следующую секунду он коротким, точным движением наколол плотвицу. Я не успел поздравить его с успехом, как он снова клюнул

острогой и снова стряхнул в мешок рыбу. Я недооценил моего спутника. У него оказался снайперский глаз и безошибочная рука. Мы как раз вошли в траву, где плотвы было видимо-невидимо. Поджав узкие губы, выкатив глаза, он разил направо и налево, попадая не только в ослепленных, недвижимых рыб, но и настигая беглянок, которым удавалось вырваться из круга смерти, настигая их в кромешной тьме воды каким-то поразительным и безошибочным инстинктом.

Он лишь на секунду прервал свое занятие, чтоб передать мне мешок с рыбой, сковывавший его движения. Хотя мне и без того было нелегко таскать «козу», я так уважал его в этот момент, что не стал спорить.

Красный круг на воде приметно съежился, потускнел — «луч» выгорал. Я опрокинул «козу» в воду, смолье, зашипев, погасло. Раздвинулись черные стены, мы вновь оказались посреди огромного простора, размеченного точками огоньков.

— Как — уже? — разочарованно проговорил Пал Палыч. — Я только вошел во вкус!

Но я так намаялся с «козой», что решительно отказался от дальнейшей ловли.

Когда мы вернулись домой, все спали. Николай Семенович постелил себе на полу, предоставив мне делить ложе с Пал Палычем. На широкой двухспальной кровати спала Катерина со своими тремя ребятишками; спала на печи Люба, ее нога в перекрутившемся шелковом чулке неудобно свесилась вниз; на узком лежачке свернулась калачиком бабка Юля. Спала семья, набирая сил для нового нелегкого дня. Я думал, что мы тоже последуем их примеру, но Пал Палычу захотелось жареной рыбы.

— Не будить же ради этого старуху, — пытался я его урезонить.

— Но я так мечтал поест свежей рыбки собственного улова! — говорил он жалобно.

— Еще наедитесь так, что и смотреть на нее не захочется!

— Разве долго поджарить на примусе несколько рыбок? Бабушка сама с удовольствием покушает... — Он подошел к спящей и осторожно потряс ее за плечо, но разбудить намаявшуюся за день старуху было не так-то легко.

— Бабушка, проснись!.. — ласково говорил Пал Палыч, нагнувшись к большому, голому уху старухи. — Бабушка!..

Так, не повышая голоса и не меняя интонации, он взывал минуты две-три и в конце концов добился своего. Бабка Юля порхнула с лежачка, села, протерла глаза, вернув им обычный, горячий блеск, и рассмеялась, узнав, для чего ее разбудили.

— Экий ты настырный! — сказала она, нащупывая босыми ногами валенки. — Меня разбудить — легче мертвого воскресить, — но, по-моему, ей пришлось по душе настойчивость Пал Палыча. Видимо, она и в других умела ценить «характерность», отличающую ее семью.

— Ну, давай рыбу! Ишь ты, сколько надобычил! Мاستак!..

Тихонько простонала во сне Люба. Пал Палыч встал на лавку и бережно, с чисто женской ловкостью поправил ей ногу.

— Заботный!.. — кивнула на него бабка Юля.

Вскоре очищенная и выпотрошенная плотва шипела на сковородке, но Пал Палычу не довелось в этот раз отведать свежей жареной рыбы. Он заснул на краешке кровати и спал так сладко и крепко, что не проснулся, даже когда бабка Юля стаскивала с него сапоги. А будить мы его не посмели.

2

По утрам в нашей избе было не то что дымно, а как-то хмарно. Дальние от печи углы, настыв, копили сероватую мглу; под потолком растекался табачный дымок; в косом луче солнца, проникавшем в глядевшее на восход оконце, ворочалась темная пыль. Утреннее, да еще раннее пробуждение — тяжелая пора суток, надо снова впрягаться в телегу жизни, снова принимать на себя все заботы, труды, недоделанные дела. Но эта семья начинала день с хорошей, твердой бодростью. Бабка Юля, напоив теленка и задав корм птице, таскала воду, растапливала печь, шуровала самовар, который по утрам ни за что не хотел закипать. Все предметы домашнего обихода: ведра, совки, ухваты, котелки, рогачи — были ей удивительно по руке. Никогда она ничего не выронит;

ничего не загремит у нее, не брякнет, не плеснет, — она работала почти беззвучно.

Катерина кормила маленького. Это был странный младенец: утром и вечером он требовал грудь, а днем преспокойно обходился соской. Одновременно Катерина следила за своей шестилетней дочкой, рассеянным и отвлеченным существом. Девочка не успевала разделаться с одним впечатлением, как жизнь подсовывала ей другое, еще более удивительное. Большой, в черном глянцево-панцире, таракан, выбежавший из-под печки, котенок, затеявший игру с желтым, припудренным мотылем, нарост грязи с блестками рыбьих чешуек на сапоге Пал Палыча поочередно привлекали ее внимание. Только и слышалось, как мать кричала:

— Одень второй чулок!.. Не трожь бабкин валенок, твой под кроватью!..

Умытая, прибранная Люба, успевшая отвести корову в стадо, занималась другим сынишкой Катерины, своим любимцем. Она причесывала ему волосы, повязывала вокруг шеи ситцевый лоскуток на манер галстука, мастерила из тряпочек и щепок какие-то игрушки, чтоб ему было занятие на день.

Первой, как обычно, увязав еду в узелочек, ушла на работу Катерина, затем отбыла на своем велосипеде Люба — она работала в городе на льнофабрике. Следом за ней, наскоро позавтракав холодной жареной рыбой, отправились на промысел и мы...

За минувшую ночь окрестность чудно преобразилась. Вчера еще голый, ольшаник покрылся нежным цыплячьим пухом листвы; облиствилась и росшая за ольшаником на взгорбке осина и сразу затрепетала всеми своими новорожденными листочками. Вчера еще сквозной, прозрачный во все стороны, до крайней дали, мир замкнулся, завесился зеленым пологом, скрывшим от глаз и узкоколейное полотно, по которому ходила торфяная кукушка, и булыжное шоссе за ним, и домик лесничего по правую руку, и старые ветлы по берегам нашей речушки. Простор был лишь со стороны озера, где за широкой, бледной чуть подсвеченной восходом водой высились холмы с древними колоколенками.

Мы двинулись по берегу в нежном ворсе молодой травы. Над нарастающей ледяной сердцевиной озера с криками носились чайки, в страшной выси журавлиным

клином прошла стая крыжаков и отразилась в озерной глуби.

Мы шли сперва вдоль чистой воды, затем начались заросшие осокой и камышом заводи. Там слышался немолчный стрекот, словно без устали работали маленькие пилочки.

— Слышите? — обратился ко мне Николай Семенович.

— Вы об этом стрекоте? — подхватил Пал Палыч. Он был экипирован по-вчерашнему, только с плеч его спускался прорезиненный плащ, оставленный одним из постоянных «ночлежников» бабки Юли. — Неправда ли, в нем есть что-то потустороннее, будто тайный шепот незримых подводных существ?

— Потустороннее... — с раздражением отозвался Николай Семенович. — Просто рыба трется о траву, помогает себе икру метать.

— Значит, роснянка пошла, — сказал я. — Веснянка давно отметалась.

— Роснянка, веснянка — как это хорошо! — восхитился Пал Палыч. — Сколько поэзии в одном слове — роснянка!

— Ее еще называют чернухой или грязнухой, — сообщил Николай Семенович.

— Чего вы к нему придираетесь? — укорил я Николая Семеновича, когда Пал Палыч, запутавшийся в длинном плаще, поотстал.

— А зачем он себя словами застит?

— Чепуха! Просто он многое по-другому видит, чем вы.

— Знаете что? — сердито отозвался Николай Семенович. — Давайте-ка не будем о высоких материях. Мы тут — рыбу ловить...

И, прибавив шагу, ушел вперед.

Между тем Пал Палыч ловко, как это делают кавалеристы, подвернул под ремень полы плаща и нагнал меня. Он попросил у меня перчатку: рука замерзла, пока он нес удочку, а ведь ему еще рыбачить. Я скинул перчатку с левой руки, он натянул ее на правую, отчего кисть будто переломилась в запястье. Не удержавшись, я спросил его, как же рискнул он отправиться в путь столь плохо снаряженный.

— Вы знаете, когда идешь к людям с открытым сердцем, тебе всегда помогут. Я готов отправиться хоть

в Каракумы, хоть на Маточкин шар с одним носовым платком в качестве багажа и убежден, что не пропаду!

Я посмотрел на Пал Палыча, на его голубые, немного навывкате глаза, в которых сейчас было что-то восторженное, точно он выговорил очень важную для него и высокую мысль; на его хорошо вычерченный хрящеватый нос с продолговатыми ноздрями; на все его тонкое лицо, которое портил лишь сборчатый шов старушечьего рта, и мне показалось вдруг, что я его где-то когда-то встречал. Мне был чем-то знаком и этот голубой взгляд и даже проникновенная интонация голоса. Но, следуя мудрому правилу Николая Семеновича, я сказал себе: не стоит ломать голову, мы тут — рыбу ловить...

Мы обосновались близ самого устья речушки. Выше, там, где берега поросли ветлами, до самого железнодорожного моста, курились костры рыболовов, — видимо, чернуха успела подняться высоко по реке. Но Николай Семенович любил простор во время ловли и предпочел не защищенное от ветра, но пустынное место более укрытому, но людному.

Стрекот, сопровождавший нас в пути, стал здесь еще громче и плотнее. Рыба неистово терлась о траву, порой выплескивалась на листья кувшинок, а то и совсем выпрыгивала из воды и, описав в воздухе короткую сверкающую дужку, вновь скрывалась под водой. У самого берега кишмя-кишели мальки и вдруг, вспугнутые невесть чем, косою штриховкой уносились в осоку.

Установив спуск, мы враз закинули удочки, метя за край заросли. У меня клюнуло, едва поплавок коснулся воды. Даже не клюнуло, а повело, как и обычно бывает, когда берет хорошая рыба. Я подсек и вынул полтора-вершковую, толстую, с темно-синим отливом чернуху, такую шершавую, будто ее шваркнули раза два ножиком против чешуи, — словом, настоящую икрянку.

До полудня продолжалась невероятная, словно во сне, поклевка. Плотва брала, как говорят рыболовы, чуть не на голый крючок. Я уже не опускал пойманных рыб в ведро, просто швырял на берег, чтобы потом подобрать. Плотва судорожно прыгала, вываливалась в пыли, как в сухарях, и выметывала икру на землю, на траву, на камни.

К полудню поклевка спала. И хотя стрекот в траве не стих, теперь все чаще попадались худые плоские самцы

и уже отметававшаяся сухая серебристая веснянка. Но и первое, самое жадное и азартное чувство лова было удовлетворено. Я уже думал дать себе передышку, но тут закричали чайки над желтоватой отмелью близ устья, и Николай Семенович коротко бросил:

— Идет!..

Подходил новый косяк. Видимо, у самого устья он разделился, потому что половина чайчьей стаи метнулась куда-то в сторону, а другая пронеслась над нашими головами, упустив косяк, вошедший в речную заросль. И снова полновесная, набитая икрой чернуха блаженно отяжелела удилище. И опять пошла ловля до боли в плече и кисти, до желтой ряби в глазах. Но все же сейчас ловилось как будто на втором дыхании, спокойней, без прежнего самозабвенья.

Правда, это не относилось к Николаю Семеновичу. Он ловил все так же сосредоточенно, стоя по колена в воде в своих кирзовых сапогах с подшитыми ботфортами из розовой резины. Он ни разу не переменял места, будто его засосала прибрежная топь. Странное дело! Мы все находились в равных условиях: у нас были одинаковые удочки, одинаковые крючки, мотыли из общего запаса, да и ловили мы на одном пяточке, и все же ему попадалась самая крупная рыба. Можно было подумать, что плотва сознательно выбирала его крючок, предпочитая быть добычей настоящего мастера.

Это не укрылось от Пал Палыча. Он уже не раз менял место, забирался даже на отмель и ловил в озере, где брало куда хуже, нежели в устье. В конце концов он пристроился к Николаю Семеновичу. Их поплавки колыхались так близко один от другого, что с моего места невозможно было определить, кому какой принадлежит. Это опасное соседство неизбежно должно было привести к тому, что их удилища сцепились, конечно по вине Пал Палыча. Ни слова не говоря, Николай Семенович распутал лесу и хладнокровно продолжал ловить. Но через короткое время беда повторилась. Николай Семенович достал нож и так же хладнокровно обрезал лесу Пал Палыча. Пал Палыч посмотрел на него с легким удивлением, попытался поймать упавшую в воду лесу концом удилища, но зарыл его в ил. Осторожно вытащив удилище, он подошел ко мне и попросил привязать запасную леску.

С интересом следя за этим молчаливым поединком, я вдруг понял, что хладнокровие Николая Семеновича было напускным — его толстые уши стали вишневыми от прилившей к голове крови, — а спокойствие Пал Палыча вполне безыскусственным.

Пока я привязывал леску, крутя тонюсенькие петельки и тут же упуская их — пальцы одеревенели, — Пал Палыч зашел в воду, захватил в охапку водоросли, резким движением выдернул их и бросил на берег вместе с песком, плотом и чуть ли не десятком запутавшихся в траве плотвичек.

— Вот это ловля! — засмеялся Пал Палыч. — Семерых одним махом!

— Совести у вас нет! — плачущим голосом сказал Николай Семенович. — Рыба хорошая, умная, зачем же пугать ее?

— А я не пугаю — я ловлю...

— Да что это вам — балаган, что ли? Ведь уйдет рыба!..

— Нет, лучше я уйду! — Пал Палыч подмигнул мне и, закинув на плечо удилище, зашагал вверх по реке.

Непосредственность и легкомыслие Пал Палыча, обнаружившиеся после того, как он ночью показал себя таким молодцом, неприятно меня удивили. Но, видимо, в ловле на удочку он не находил той остроты удовольствия, что в осторожном бое.

Мы ловили еще часа три или четыре, но Пал Палыч не возвращался. Небо облилось закатом, затем пригасло, и синеватая тень земли легла по горизонту. Вода в озере побелела, огустела, как сметана, и, будто утерев привычную стихию, чайки с громкими, паническими криками носились над береговой кромкой.

Рыба по-прежнему терлась, билась в осоке и камышах, но клевать перестала. Подул холодный ветер. Мы стали собирать наш улов: два полных ведра. Кроме того, оказалось, что самых крупных плотвиц Николай Семенович спускал в сачок, — на глаз их там было не меньше полусотни.

— Неплохо! — заметил я.

— Это что! — отозвался Николай Семенович. — Вы бы посмотрели в прошлые годы!..

Я еще никогда не встречал рыболова, который бы не считал, что в прошлые годы и рыба была крупнее и уловы

богаче, но до сих пор не могу понять: говорится ли это из боязни спугнуть удачу или по странной игре человеческой памяти.

— А где же рыба... этого? — спросил Николай Семенович.

— Да, наверное, тут, вместе с нашей.

— Ладно, пошли...

И, захватив тяжелые ведра, мы двинулись в обратный путь.

3

Едва мы подошли к нашему домику, как увидели Пал Палыча. В голубоватых, прозрачных сумерках новолунья он читал стихи, стоя перед копной прелой соломы. Приблизившись, мы обнаружили в копне небольшую фигурку Любы, она так умялась в солому, что издали была совсем неприметна.

Спешите! и радости потек
Нас захлестнет, но не разделит!..

— Тоже скажете! — знакомо отозвалась Люба, но в голосе ее не было вчерашней небрежной лени, в нем звучала заинтересованность, не без примеси кокетства.

— Жаль, если он ей голову закрутит, — проворчал Николай Семенович. — Она девушка хорошая, чистая...

Это замечание не имело никакого отношения к рыбе, и я с удивлением посмотрел на своего спутника. Николай Семенович нахмурил торчкастые, похожие на усы, брови, откашлянул в кулак и быстро прошел в сени.

Перед ужином Пал Палыч объявил, что сегодня состоятся танцы. Оказывается, он обнаружил в доме старый патефон с набором пластинок. Видимо, тут все было решено еще до нашего прихода. Детей уложили спать пораньше. А Катя и Люба принарядились: надели крепдешиновые платья, шелковые чулки, туфли на высоких каблуках. К обычным серьезным запахам нашего жилища примешался тонкий и отвычный аромат чего-то женского: пудры, духов.

Катя мило смущалась своего праздничного обличья, будто не имела на него права. Она все отводила глаза и без причины прыскала коротким застенчивым смешком. Подтянутая и чинная Люба, напротив, исполнена какой-то

торжественности — танцы серьезное дело в восемнадцать лет!

Я понял, что сегодня она не поедет к своему саперу, и мне стало немного не по себе, словно и моя вина была в том, что нарушился обычный лад здешней жизни. Но вот захрипел, заиграл патефон, мужской рыдающий голос запел что-то об одиноком цыгане, Пал Палыч подхватил Любу, и в ее повлажневшем взоре отразилось такое глубокое наслаждение, что неприятное чувство разом покинуло меня.

Верно, и бабка Юля подметила трогательное выражение счастья на лице дочери.

— Танцуйте, танцуйте, милые... — тихим, добрым голосом проговорила старуха.

Катерина перевернула пластинку так быстро, что Пал Палычу и Любе не пришлось прерывать танца. Теперь звучала бравурная, веселая мелодия, и движения танцующих стали быстрыми, отрывистыми. Пал Палыч танцевал прекрасно, он так легко и уверенно вел свою партнершу по тесной избе, заставленной лавками и кадушками, точно они находились в бальном зале. Люба раскраснелась, глаза ее стали далекими, словно она унеслась куда-то в иные пределы.

Но вот погасла в жестяном хрипе мелодия — пора менять иголку. Пал Палыч поцеловал Любе руку, та ответила ему благодарным взглядом.

— Эх, только по рюмочке нам не хватает! — воскликнул Пал Палыч, обводя избу блестящими глазами. И тут он приметил на тесно заставленном подоконнике горлышко бутылки. — Да вот она, голубушка! — Он подбежал к подоконнику и ловким жестом извлек бутылку.

— Это моя водка! — раздался мрачный голос Николая Семеновича. Он сидел на обычном месте, в темном углу, и курил трубку, пуская дым в трещину разбитого окна.

— Вот и чудесно! — отозвался Пал Палыч. — Товарищи дамы, к столу!.. — и с необыкновенной быстротой он извлек из шкафчика граненые стаканы, стопки, резким ударом кулака по ребру донца вышиб пробку и разлил водку по «рюмкам».

Конечно, и Люба и Катя чванились, уверяли, что «в рот ее не берут», но сокрушительному напору Пал Палыча нельзя было противостоять. Он даже бабку Юлю

заставил выпить, чем ужасно рассмешил старуху, он только сам почему-то не выпил, хотя старательно потчевал всех.

И снова заиграла музыка...

Я танцую плохо, но, подогретый водкой, решился пригласить Катю. Она долго отказывалась, делая испуганные и сердитые глаза, серьезно уверяла, что «ее дело пожилое», вырывала и прятала за спину руки, когда я пытался поднять ее со стула, но в конце концов, залившись краской, согласилась и протянула мне маленькую, твердую, шершавую руку. Танцуя, Катя все смотрела себе под ноги, выбирая, куда их лучше поставить, и ставила так, что я то и дело отдавливал ей пальцы. И тут же, опережая меня, говорила: «Извините, пожалуйста».

А бабка Юля, стоя у печи, глядела на нас так весело и жадно, точно сама собиралась пуститься в пляс, и, утирая смеющийся рот рукой, приговаривала:

— Ишь сатанята!..

Конечно, вполне законно отнестись с иронией к рыбаку без удочки, но мне в этот миг невольно подумалось: а что принесли этим людям мы с Николаем Семеновичем? Сколько народу прошло через этот домик, но, кроме рыбы, никто здесь ничем не интересовался. А вот Пал Палыч оказался совсем другим, и, верно, он останется у хозяев в памяти теплом и весельем, которые внес в их жизнь...

Так думал я, отдыхая после очередного мучительного танца с Катей. Пал Палыч и Люба могли, казалось, танцевать бесконечно. Сейчас он вел ее мягким, крадущимся, кошачьим шагом вальса-бостона и что-то шептал на ухо. Люба отстранялась от его шепота, закидывала голову назад, обнажая нежное, тонкое, будто прозрачное горло. Вдруг она высвободилась из рук Пал Палыча и, сурово глянув на него, отошла к стене.

— Ну и пожалуйста! — приглушенно, с досадой сказал Пал Палыч. — Я приглашу Катю!

Он повел Катю, и под его умелой рукой Катя стала двигаться куда плавнее и грациознее, нежели со мной.

И вдруг все как-то засуматошилось. Захлопали двери, гоня по избе уличную стужу. Забегала в сени и назад бабка Юля. То задуваемый, то вздуваемый порывами ветра, меркнул и ярко возгорался венчик пламени в лампе. Запахло тревогой.

— Катькин позор заявился, — пренебрежительно сказала Люба.

— Надеюсь, мы ничего плохого не делали? — обеспокоенно проговорил Пал Палыч, поспешно выпуская Катю.

— Да пусть войдет, чего людей зря смущает, — строго сказала Катя.

Но он вошел сам, не дожидаясь приглашения, небольшой, рыжий, с отчаянными глазами. Какие бы чувства ни владели этим человеком, они не были добрыми. Но он не успел обнаружить того, что нес сквозь ночь и непогоду к этому дому, укравшему его любовь. Обескураживающая, ласковая решительность Пал Палыча мгновенно опутала пришельца, сбила с толку, усадила за стол, принудила выпить столько, чтобы отмякло сердце.

Он, верно, и сам не мог понять, как случилось, что он ест и пьет в этом ненавистном доме, и чокается с женой, и осторожно шевелит пальцем волосики спящей дочери, пляшет, ударяя оземь коленом до живого хруста кости...

Но всему бывает конец. И поздний час как-то сам собой погасил музыку и шепнул людям: пора и честь знать. Мужу Катерины надо в обратный путь, сквозь ночь, непогоду и дорожную непролазь. Чего он добился своим приходом? Даже не сорвал, не отвел сердца! Он будто чувствует, что его обманули, и в глазах его появляется давешнее: затравленно-отчаянное. Робким и судорожным движением берется он за шапку, но Пал Палыч не дает ему уйти.

— Оставайтесь, — уговаривает он, ласково обняв его за плечи. — Ну, куда вы пойдете в такую темень?

Тот исподлобья, но все же с надеждой глядит на лица своих родичей, вновь ставшие отчужденными, замкнутыми. Катерина стелет постель, к мужу повернута ее спина.

— Да оставайтесь же в самом деле, утречком вместе и пойдете! Товарищи, нельзя же гнать человека!..

Признаюсь, я с некоторым трепетом следил за этим отважным вмешательством в сложную, тонкую, трудную жизнь чужих людей. Но все обошлось до странности просто.

— А мне что — пусть остается, — вдруг как-то очень спокойно сказала Катерина.

— Дай-кошь тюфяк, — так же спокойно и деловито подхватила бабка Юля, — на лавках постелю...

Через несколько минут все улеглось, бабка Юля погасила лампаду, и я сразу услышал рядом с собой кроткое и тихое дыхание Пал Палыча. Он засыпал мгновенно, как ребенок.

Ночью я проснулся, разбуженный чьим-то голосом.

— Ты что — сдурел!.. Ребенка разбудишь!.. — услышал я незнакомый, напряженный, странный голос Катерины.

В ответ возня, затем срывающийся шепот мужчины:

— Муж я тебе или не муж?

— Уйди, слышишь!.. Я думала, ты человек... Уйди!..

— Кать!..

— И мыслить об этом забудь... Никогда... теперь — никогда!

Тишина, затем тупой, противный звук удара о что-то податливо-мягкое. Человек, освещая себе путь зажженной спичкой, метнулся к двери, и я на миг увидел бледное, под шапкой рыжих волос, лицо; дверь захлопнулась, отрезав свет, и в темноте сдавленно, осторожно и зло зарыдала женщина...

Утром не было и речи о неудавшемся примирении, все делали вид, будто ничего не произошло. Лишь, когда дочери ушли на работу, бабка Юля сказала Пал Палычу:

— Эх ты — миротворец! — но это прозвучало не укоризненно, а печально.

4

День выдался скверный. Ветер, задувший еще накануне, пригнал к берегу лес, и плотва, чтоб не задохнуться, ушла из прибрежных заводей в открытую воду. Казалось, зима решила в последний раз помериться силами с весной. Берега зеленели молодой травкой, ольшаник весь закурчавился листвой, а с озера напирали ледяные валуны в шершавом крупичатом снеге, дыша разящей стужей. Обломки льдин выползали на берег и громоздились друг на дружку. Низкое, серое небо над озером медленно расслаивалось, все ниже припадая к воде. Светлая еще полоса берега ужималась на глазах, и когда мы добрались до речки, граница света оттянулась к подножию дедьев, а затем посвинцовел и накрытый тенью молодой убор ольшаника, весна отступала вдаль, за горизонт.

Холодно и неприятно было на реке. Ветер стегал по воде, покрывая ее трепещущей рябью, раскачивал голые прутья кустарника, трепал молодой березняк на другом берегу речушки. Деревья сомкнули свои набухшие, готовые лопнуть почки, они казались обглоданными, мертвыми. Потемнела, съежилась осока, полег камыш, где уже не творился знакомый, волнующий стрекот плотвиной терки. Клева, конечно, не было. Нам попало лишь несколько тощих, с тусклым селедочным блеском, уклеечек, да и тех мы покидали назад в реку.

Мы медленно двигались от устья к железнодорожному мосту, выбирая среди нависших над водой старых ветел места поукрытнее, но все без толку. Наконец, Николаю Семеновичу посчастливилось. На маленьком чистом пятчке среди листьев кувшинок, почти у самого берега, он одну за другой вытащил около десятка очень крупных, набитых икрой чернух. Это дало нам заряд бодрости еще часа на три бесплодного лова. Пал Палыч, наиболее нетерпеливый из нас троих, успел дойти до моста и вернуться обратно, но без успеха.

Пошел мокрый, довольно густой снег. Едва касаясь земли, он тут же таял, и в течение нескольких минут берега закисли.

— Ну, теперь уж не на что рассчитывать, — сказал Пал Палыч, ежась от стайвающего за шиворот снега.

— Ясное дело, — согласился Николай Семенович, вытаскивая подлещика.

— Я прошел до самого моста, хоть бы раз клюнуло! — сказал Пал Палыч, обращаясь ко мне. Ему явно хотелось, чтоб я составил ему компанию на обратный путь, но тут Николай Семенович, вслед за подлещиком, вытащил полосатого окунька, и я сказал Пал Палычу, что хочу еще половить.

— Желаю удачи! — с обычным доброжелательством ответил Пал Палыч и, подняв воротничок куртки, зашагал прочь от берега.

И мне почему-то подумалось, что мы его больше не увидим. Он исчерпал для себя круг здешних радостей и так же легко, как появился накануне, исчезнет, не утруждая себя условностями расставания.

Но я ошибался.

Вернувшись вечером домой, мы застали всю семью за поисками. Стоя на лавке, Люба обыскивала печь,

перебирая тюфяки, одеяла, подстилки; Катерина шарила под буфетом, бабка Юля обследовала кровать.

Обшаривала все углы смешная, рассеянная дочка Катерины в длинном, не по росту зипунишке. Не менее старательно действовал ее меньшей братишка. Он, видимо, не знал, чего ищут, и с радостным видом приносил бабке то спичечную коробку, то огарок свечи, то котенка. В благодарность он получал несильный подзатыльник и с новым рвением принимался за поиски.

Грудняк тоже искал. Но он искал грудь матери, которая, занявшись розысками, совершенно забыла о нем. Наш приход ее отрезвил. Отряхнув колени, она села на постель и взяла младенца на руки. Тут он сразу нашел, что ему нужно, и отдался своему делу, равнодушный ко всему на свете.

И как будто бесцельно, только мешая людям, с рассеянно-отвлеченным выражением слонялся по избе Пал Палыч. Вид его странной непричастности ко всей этой суматохе сразу навел меня на мысль, что он — пострадавший.

— Что тут у вас стряслось? — спросил я Пал Палыча.

— У меня пропал ножичек, — ответил он больным голосом.

Ничтожный размер бедствия так не соответствовал усилиям людей и огорчению пострадавшего, что мне захотелось ответить шуткой, но меня перебил Николай Семенович.

— Экая досада! — серьезно сказал он.

Такая участливость Николая Семеновича, настроенного недружелюбно к Пал Палычу, удивила меня. Но в этом сказалось, верно, уважение профессионала к орудию промысла: в походной обстановке нож — первое дело, особенно же для рыбакова или охотника.

Николай Семенович тоже включился в поиски. Наперво он ощупал собственную одежду, затем исследовал подоконник, где хранилась наша еда, потом полку с посудой, наконец осмотрел карманы наших плащей и курточек, висящих около двери.

— Крепко же вы его потеряли, — сказал он, усевшись за стол, достал свой великолепный, о пяти лезвиях, нож и стал нарезать хлеб к ужину.

— Ну, нет его и нет! — стоя на коленях у кровати, под которую только что заглядывала, сказала бабка Юля.

Ее лицо было красно от прилившей крови. — Хочешь, возьми наш ножик!

— Какой — кухонный? Ну, что вы! У меня нож был в ноженках. Такой небольшой изящный ножичек в кожаных ноженках! — говорил Пал Палыч, жалобно морща свой узкий рот.

— Сроду у нас такого дела не случалось! — огорченно вздыхала бабка Юля. — Сколько народу перебивало... Экая беда, прости господи!

Мне стало неловко перед старухой и ее дочерью за всю эту грубую кутерьму. Было ясно, что они ищут уже давно, обшарили каждую щелку, знают, что ножичка им не найти, и продолжают свою бесцельную работу лишь из щекотливости и смущения.

— Ну, бог с ним в конце концов! — сказал я. — Тоже фамильная драгоценность!..

— Простите, но это мой ножичек, — сказал Пал Палыч почти надменно.

— Но почему вы так уверены, что потеряли его именно здесь? Вы могли обронить его на реке, по дороге на реку...

— Я слишком внимателен к вещам, чтоб со мной это могло случиться, — последовал ответ.

Все же и бабка Юля и Люба восприняли мое вмешательство как сигнал к прекращению поисков. Люба опустилась на лавку и сладко потянулась, бабка Юля, со скрюченной от частых поклонов поясницей, заняла свое обычное место у печи, прижавшись спиной к ее теплу. Дочка Катерины, подражая взрослым, тоже перестала шарить по избе, подошла к бабке и стала рядом, по-взрослому подперев щеку рукой. Только братишка ее никак не мог уговориться и уже нес в кулачке какую-то новую находку, когда мать сердито прикрикнула на него:

— Цыц ты! Замри!..

И этот резкий окрик открыл мне, как нехорошо сейчас хозяевам, как неприятна им эта пропажа. Хоть бы Николай Семенович подал голос! Но, верный своему обычаю невмешательства, он молча готовил ужин. Зато сказал Пал Палыч с упорством, которому все нипочем:

— Может быть, дети взяли?

— Сроду за ними такого не водилось! — сурово ответила бабка Юля. Но с добросовестностью старого человека она наклонилась к стоящей рядом внучке и вывер-

нула враз карманы ветхого зипунишки. Мимо старухиной руки выпал, звякнув колечком, ножик. Пал Палыч радостно вспыхнул, поднял ножик, вынул его из ножен, словно желая удостовериться, что ножик не пострадал, вложил назад и спрятал в карман.

— Ты зачем чужое взяла? — грозным голосом произнесла бабка Юля и страшновато выдохнула. — А-а?..

Длинной, коричневыми жилами перевитой, плоской и тяжелой рукой бабка наотмашь ударила девочку по лицу. На розовой округлой щечке возникли вмятины, от них лучиками побежала белизна, затем белизна резко и быстро затекла пунцовым. Как будто кленовый лист выжгли на щеке ребенка.

Катерина не сделала ни одного движения, чтоб защитить дочь, бабка вела дом и была в своем праве, но что-то окаменело в ее лице.

Бабка подняла руку и так же резко, от локтя кистью, хлестнула девочку по другой щеке.

— Не брать чужого!.. Не брать чужого!..

Девочке, наверное, было очень больно, но она не заплакала и даже словечка не молвила в свое оправдание. Это можно было принять за упрямство, за какую-то очерственность маленькой души или за «характерность», как определяла бабка, ведущая семейное начало, но скорей всего она просто пыталась постигнуть смысл происходящего.

Видимо, она взяла ножик, чтобы поиграть с ним, затем положила его в карман и забыла о нем. И теперь в ее маленьком мозгу устанавливались новые связи: чужая вещь не становится своей оттого, что полюбились тебе, за это стыдят и больно бьют. Эта внутренняя работа, в которой постигалось новое, поглощала все силы ее крошечного существа, вытесняя слезы...

— Не смей брать чужого! — и бабка снова подняла руку.

— Ой, не надо! — воскликнул Пал Палыч, сморщив лицо.

— То есть как это — не надо? — сурово спросила старуха.

— Подождите, — торопливо заговорил Пал Палыч. — Может быть, я сам впотьмах сунул ножик к ней в зипунишко. Он же висел у двери рядом с моей курточкой.

— Надо было раньше думать! — зло крикнула Люба.

И все же настоящий смысл запоздалого заступничества Пал Палыча не сразу дошел до меня, в первый миг я почувствовал даже облегчение. Но затем я увидел глаза девочки. Два круглых больших глаза с расширенными зрачками были обращены на Пал Палыча с выражением тягостной, недетской ненависти.

— Нет, — громко произнес вдруг Николай Семенович, — я сам видел, как она играла с ножичком. Ты ведь играла ножичком? — добрым голосом обратился он к девочке.

— Иг-рала... — слышался тихий, скрипучий шепот.

— То-то! — облегченно сказала бабка Юля и, взяв внучку за светлый вихор, дважды или трижды с силой дернула книзу, приговаривая:

— Не брать чужого!.. Не брать чужого!..

Видимо, девочка уже освоила эту истину: сосредоточенное и, как мне казалось, затаенно-упрямое выражение исчезло с ее лица, ставшего простым, детским и плаксивым.

— Не буду, баба! — заревела она, и бабка отозвалась умиротворенно:

— Ну, ступай... Погоди, дай нос высморкаем!..

Девочка высморкалась в бабкин подол, и через минуту жизнь в нашем тесном жилище настроилась на обычный лад. Катерина кормила младенца, бабка Юля раздувала самовар с помощью старого валенка, а маленькая грешница обучала котенка тому благостному закону, который накрепко вколотила в нее добрая бабкина рука: она клала на пол клубок шерсти, и когда котенок вцеплялся в него лапами, трепала его за шкурку, приговаривая:

— Не брать чужого!.. Не брать чужого!..

Люба молча обряжалась в дорогу. Она натянула ватник, обмотала голову платком, несколько раз закрутив его вокруг шеи: видимо, она собиралась к своему саперу.

— Как, вы уезжаете? — обратился к ней Пал Палыч. — Но мы же уговорились...

Люба молча сняла с крюка велосипед.

— Поезжай, поезжай, дочка, — теплым голосом сказала бабка Юля. — Он, поди, заждался...

Толкнув передним колесом велосипеда дверь, Люба вышла в сени. Пал Палыч посмотрел ей в след и

вздыхнул. Хлопнула входная дверь. Пал Палыч закурил сигарету, вид у него был отсутствующий.

— Николай Семенович, — неожиданно сказал он, подойдя к столу, — вы-то ведь знаете, что девочка... стащила нож?

Николай Семенович в эту минуту вскрывал банку консервов, сделанную, по всей видимости, из кровельного железа: так взмокло и покраснело от напряжения его большое, толстое лицо. Он ответил лишь после того, как лезвие ножа ровно заскользило по кромке донышка.

— Нет.

— Но вы же видели, как она играла с ножиком?

— Это не важно, — медленно и словно нехотя произнес Николай Семенович.

— Но простите?!. — Впервые на лице Пал Палыча я увидел не восторженное, а вполне серьезное, даже несколько тревожное изумление. — Тогда я вас не понимаю... Это же черт знает что такое!.. — начал он с неуверенным возмущением и осекся.

На него в упор были наставлены два темных, с желтоватыми белками, два много видевших на своем веку, патруженных, по-солдатски зорких, добрых и беспощадных глаза. И грузный, тяжелый, равнодушный ко всему, кроме рыбы, консультант по судакам сказал со странным выражением нежности и злости:

— Вы не заметили, как посмотрела на вас девочка, когда она уже отстрадала свою невольную вину, а вам вздумалось играть в благородство? То-то и оно! Не всякая наука по силам ребенку... Еще придет для нее время, когда она научится ненавидеть таких, как вы... — И совсем тихо добавил: — Ничтожный, жадный, ласковый паразит...

— Ах, вот как! — только и сказал Пал Палыч с каким-то неясным и задумчивым выражением. Да, задумчивым, в его тоне не чувствовалось ни гнева, ни обиды, ни возмущения, ни даже сожаления, лишь чуть-чуть — усталость. Та усталость, которую испытывает путник, слишком рано поднятый с привала.

— Когда тут проходит кукушка? — вежливо и спокойно спросил он бабку Юлю.

— Теперь уж на рассвете, раньше не будет, — не поворачивая головы, ответила бабка.

— А сколько до города?

— Километров десять...

Пал Палыч неторопливо оделся, нахлобучил кепку, поднял воротник своего щеголеватого пальто и подошел к двери. Теперь уж я видел его, как сквозь увеличительное стекло: он явно надеялся, что его остановят. Не дождавшись этого, он толкнул дверь. Ночь глянула в лицо Пал Палычу темнотой и холодом. Аккуратно притворив дверь, он разделся и сел на кровать.

— В конце концов каждый имеет право на постой, — без всякого вызова или бравады сказал Пал Палыч и, взбив подушку, улегся спать.

Николай Семенович уступил мне половину своего тюфяка, и я прикорнул у теплого бока соседа.

Утром Пал Палыча уже не было в избе; видимо, он уехал с первой кукушкой. Уехал, забыв расплатиться за ночлег. Но все, чем он пользовался у нас: сапоги Николая Семеновича, бабкин плащ и ватник, моя удочка, запасные крючки, банка с мотылями, перчатка, — все было аккуратно сложено на лавке, являя с полной очевидностью, что уголовной ответственности Пал Палыч не подлежал...





ХАЗАРСКИЙ ОРНАМЕНТ

Прошлый год зима выдалась на редкость многоснежной, а весна на редкость водообильной. Пробираясь из Спас-Клепиков на озеро Великое, мы не узнавали уже хоженной дороги и знакомых мещерских просторов. Леса купались в воде; казалось, они растут из неглубоких, чайного цвета озер. Каждый овраг, каждая впадина полнились водой, отражавшей днем небесную голубизну, а ночью — звезды. Сухие канавы и обочины превратились в реки, всякая трещинка, морщина в земле обернулась ручьем, все вокруг текло, бурлило, хлюпало, парилось туманом, знобко моросило, пронизывая до костей колючим холодом. А с северных склонов холмов еще сползали, шипя, и растекались у подножий тощими водопадами последние, серые, в стеклянной корке, снега.

Вода удивительно изменила рельеф местности. Она загладила складки, сровняла неровности, кое-где накрыв орешник, молодые дубовые рощицы; она поглотила всю молодую поросль и оказалась бессильной лишь перед елями, соснами и старыми плакучими березами. Вода отблескивала в воздух, и в этом отблеске становились невидимыми стволы дальних деревьев. Казалось, будто шатры елей, купы берез и кроны почти голых сосен свободно висят в просторе.

По зеркалу новоявленных озер, над пашнями, лугами, перелесками скользили плоскодонки и знаменитые местные «дубки», выдолбленные чаще из сосны, нежели из дуба. Деревья и кусты, над которыми они проплывали, цепляли их за днище своими верхушками, словно водоросли; порой гребцы раздвигали веслами ольшаник, словно камыш или тростник.

Будь я один, я бы давно заплутался, но мой напарник, Леонтий Сергеевич, страстный охотник и рыболов, а в свободное от рыбалки и охоты время — искусствовед, уверенно шагал вперед, не давая весеннему потоку сбить себя с толку. Но это не значит, что мы быстро продвигались к цели нашего путешествия. Выйдя под вечер, мы к ночи из-за бесконечных обходов не сделали и пяти километров полезного пути. Тьма населилась звездами. Они горели над нами, под нами, вокруг нас. Ближе к полуночи сверху вниз и снизу вверх потек лунный свет, и уже нельзя было распознать, где земля, где небо.

Мы долго искали сухое пристанище для ночлега и, наконец, наткнулись на костер. У костра сидели несколько охотников. Они сушили сапоги, портянки и дружно, в один голос, ругали весну, половодье и свою беспокойную охотничью страсть, погнавшую их в чертову распутицу вон из дома.

Кое-как пристроившись к костру, все время грозившему потухнуть и источавшему больше дыма и чада, нежели тепла, мы с грехом пополам переночевали на еловом лапнике. Утром двое из нашей компании повернули восвояси, и мы отправились в путь впятером.

Теперь уже ругали не весну, а тех двоих, что сдрейфили, и это придавало бодрости. Все же после переправы через Святое на дубках по мелкой, противной волне, то и дело стрелявшей из-за носовой части ледяными, колю-

чими брызгами, отсеялось еще двое. Кое-как просушившись в лесной сторожке, омываемой со всех сторон водой, мы двинулись дальше уже втроем. С нами остался рослый, крупнотелый парень с полным, немного бабьим лицом в светлом, мягком пушке молодой бороды. Он шел упрямо, не разбирая дороги, не ища обходных тропок, черпая воду отворотами резиновых сапог, напролом сквозь чащу, обдававшую его с ног до головы скопленным в ветвях ливнем, и трудно было понять, чего больше в этой нерасчетливости — мужества или отчаяния. Все выяснилось под вечер, когда мы ужинали в крошечной чайной в одной из лежавших на пути деревушек.

Охотник выпил водки и стал рассказывать, что жена изменяет ему с ветеринаром. Рассказ был долгим, обстоятельным, ненужно откровенным, и мы поняли, что и этот спутник решил повернуть назад. Так оно и оказалось. Расплатившись за ужин, он встал, ленивым движением прихватил ружье, рюкзак и, не попрощавшись, будто на минутку, вышел из чайной. Мы ждали его с полчаса; он не вернулся.

— Тем лучше, — заметил Леонтий Сергеевич, — вся утка нам достанется.

— Нет, — сказал, оторвавшись от счета, официант, худенький, востренький паренек, — тут еще раньше вас один человек прошел.

— Какой человек?.. — удивился Леонтий Сергеевич.

— Тоже охотник, — ответил официант, — он еще до вашего прихода вышел.

— Видали! — с азартным блеском в глазах воскликнул Леонтий Сергеевич. — Вот молодчага! Один, на ночь глядя, не побоялся!..

По правде говоря, я не возражал бы против того, чтоб вся утка досталась этому одинокому охотнику: я устал, намерз, отсырел, бесконечные потоки воды давно погасили во мне охотничий огонек, но я знал, что на Леонтия Сергеевича не подействуют ни жалобы, ни доводы, и только вздохнул.

«Ничего, настанет день, когда я буду думать о нашем походе в прошедшем времени», — прибег я к излюбленному утешению и следом за Леонтием Сергеевичем вышел из тепла чайной в сырость и тьму.

Конечно, мы сбились с дороги и обнаружили это довольно поздно, ибо дорога и бездорожье в здешних ме-

стах почти едино: те же ухабы, те же лужи, та же неразбериха под ногами. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что земля уходит из-под ног и я ступаю в жидкую, вязкую, топкую стихию. Тщетно пытался я найти хоть какую-нибудь опору вокруг себя, с каждым шагом я все сильнее погружался в это омерзительное месиво.

Я остановился. Кособокая луна, замутненная бегущими в разные стороны рваными, тощими тучами, бросала на болото желтоватые пятна света. Приглядевшись к этим пятнам, я решил, что желтизной окрашена трава, стало быть там — твердь, а черные плешины — торфяная топь. Примерившись взглядом к ближайшему желтому пятачку, я рывком вырвался из засоса, сделал два заплетающихся шага, ступил на желтизну и провалился по пояс. Ничего не понимая, я попытался схватиться руками за соседний желтый островок и увяз по локоть в торфяной жиже. Мне удалось вырвать руки, но от этого движения я еще глубже ушел в трясину. Луна так предательски распределила свет и тени, что я спутал твердое с топким. Впрочем, вина моя: как было не догадаться, что луна, отражаясь в пленке воды над торфом, желтит как раз топь, оставляя в тени травяные островки.

Странно, я никогда не придавал значения мещерским опасностям. Мне не верилось в те первобытные способы гибели, о каких любят рассказывать местные жители. Мещера так близка от Москвы, от всего привычного, прочного московского уклада, что я просто не мог поверить, будто тут можно погибнуть. Но сейчас обставшая меня со всех сторон огромная и вместе тесная ночь словно отделила меня от всего мира. Я ощутил себя безнадежно отрезанным от всего родного, привычного, безопасного и впервые испугался. Самообладания хватило лишь настолько, чтоб вместо папического «спасите!» крикнуть: «Леонтий Сергеевич!»

— Дайте руку, — раздалось почти у самого уха, и мне сразу стало совестно. Я должен был знать, что мой надежный спутник рядом и придет на помощь, не ожидая крика.

Я паугад выбросил вперед руку и поймал его пальцы. Сильным движением Леонтий Сергеевич вырвал меня из жидкого капкана.

— Идите в мой след, — сказал он.

— Я не вижу следов.

— Шагайте по темному.

Это было не так-то просто: каждое темное пятнышко представлялось мне жутким кружком омота. Ступишь — утонешь. Но приходилось идти...

Тьма впереди уплотнилась, и это глухо-черное, чернее остальной ночи — похоже, кустарник, — обвелось слабым, мерцающим контуром. Казалось, что не мы приближаемся к этому черному, а черное наплывает на нас. И оно было уже совсем близко, когда вдруг что-то качнулось под ногами, и Леонтий Сергеевич сделался совсем крошечного роста. Через миг мы сровнялись в росте — я тоже провалился по грудь в трясины.

— Ничего, ничего... — бодро говорил Леонтий Сергеевич, — давайте вашу руку, сейчас выберемся.

Словно крошечный лучик прожектора скользнул по болоту. Изумрудно зазеленив осочные травы, он заключился в голубоватом испарении трясины и, вырвавшись из него, поместил нас в центр широкого светлого круга.

— Хватайтесь за палку, — послышался голос из того места, откуда выходил конусок света. — Твердое рядом...

В следующий миг Леонтий Сергеевич вдруг вырос над трясиной, его пальцы, как клещи, впились в мою руку, рывок — и мы уже стоим на твердом, и высокий мокрый кустарник щекочет лицо.

— Дорога рядом, сразу за кустами, — сказал наш невидимый избавитель.

— Вы здешний? — поинтересовался Леонтий Сергеевич.

— У меня карта, — ответил незнакомец, выдавил из фонарика пучок света и показал нам карту под целофановой крышкой планшета.

Мы двинулись гуськом через кустарник и вскоре вышли на широкую, поблескивающую множеством луж, уходящую вдаль, во тьму, полосу земли. Но идти по этой дороге оказалось немногим легче, чем по болоту. Видимо, когда-то она была мощена булыжником, но ее давно разъездили, разбили, и булыжник сохранился лишь на окраинах глубоких полных воды ям.

Мы так долго, так невыносимо долго оскальзывались на глинистых, путаных колеях, проваливались в ямы, натирая полные сапоги воды, сбивали ноги о булыжник, что в конце концов добрались до какой-то деревушки.

В первом же доме, где мы попросились на ночлег, нас сразу впустили. В Мещере не было случая, чтобы охотникам отказали в пристанище, как бы мало и тесно ни было жилье. А уж теснее этого жилья нельзя себе и представить. Посреди комнаты висела зыбка, и старуха с лицом, изъеденным волчанкой, качала зыбку, напевая что-то однотонное, что убаюкивало ее самое, но не младенца. Стоило старухе заклевать носом, как ребенок принимался истошно кричать. Его крик несколько не тревожил других многочисленных обитателей избы, спавших в покат на полу. Да еще с печи свешивались две пары босых ног. Но заспанный хозяин уверенно и наугад сдвинул какие-то лавки, кинул в угол овчинный тулуп, ситцевую подушку без наволочки, подгрел сенца, застелил его полотенцем, и получилось ложе, вполне достаточное для троих. Затем, ни слова не говоря, он залез на печь и ступней стало не четыре, а шесть.

Пока мы с Леонтием Сергеевичем чистились в сенях, наш спутник внимательно изучал карту при слабом свете коптилки.

— Нет, это действительно та самая дорога! — сказал он, когда мы вернулись в избу. — Вот болото, кустарник, вот Перхушково, где мы с вами находимся, а вот и лента дороги. Обратите внимание на условные знаки — мощеная дорога!

— Да, — согласился Леонтий Сергеевич, бросив взгляд на карту, — а что вас так удивляет?

— Но это же черт знает что такое, а не дорога! — взорвался человек. — И не стесняются на карте пометать! Ведь по всему району такие, с позволения сказать, дороги. Да что по району, по области!..

Я знал, что Леонтий Сергеевич терпеть не мог острых разговоров. Вот и сейчас, желая отвлечь незнакомца от опасной темы, он спросил:

— Вы из Москвы?

— Нет, из города, — ответил тот вскользь — это означало на местном языке — из райцентра, и продолжал с той же горячностью: — Дороги — это лицо страны. А разве у нас дороги? Сколько лишних мук терпит русский человек из-за проклятого бездорожья!..

— Потерпите, не все сразу, — пробормотал Леонтий Сергеевич. — Мы столько строили!..

— Бросьте! — сердито перебил человек. — Строили!.. А сколько понастроили никому не нужной дряни? Все эти колонны, арки, балкончики, завитушки, все эти дома-торты, все эти дворцы — вроде надземного метро! Да что говорить! В самую зачуханную забегаловку норовили втащить пальму, в самом загаженном скверишке водрузить статую. А дороги, артерии жизни,— о них не думали, да и сейчас мало думаем...

Он с жаром и злостью развивал эту тему, и, по мере того, как он говорил, крупное, высоколобое, серьезное лицо Леонтия Сергеевича становилось все более замкнутым, запертым, рассеянно-отчужденным. Леонтий Сергеевич так отчетливо самоустранился из беседы, что когда он вдруг встал и вышел из дома, это даже не выглядело невежливым.

— Разве я сказал что-нибудь обидное для вашего товарища? — с удивлением спросил человек. — Он, случаем, не дорожник?

— Нет, — ответил я, пожав плечами. Конечно, я не стал объяснять этому незнакомому охотнику, что мой спутник, такой уверенный и надежный в природе, был человеком раз и навсегда испуганным. Он и в науке-то выбрал область бесконечно далекую от живой жизни: он изучал древний хазарский орнамент. Мне казалось порой, что он и сам с горечью переживает эту свою «испуганность», но ничего не может поделать с собой.

Когда Леонтий Сергеевич вернулся, человек с карандашом в руках доказывал мне, насколько убытки от бездорожья превосходят стоимость новой дороги. Я очень люблю сердитых людей. Не холодных зубоскалов, не пустых критиканов, а сердитых, даже злых от своей заинтересованности в хорошем, правильном, нужном для жизни. Незнакомец сердился и ругался с болью, и этим он сразу расположил меня к себе. Но Леонтий Сергеевич был иного мнения. Когда мы легли спать, он шепнул мне на ухо:

— Давайте пораньше выйдем... Зачем нам третий?..

Но третий и сам не стал нас дожидаться. Как ни рано мы поднялись, незнакомец опередил нас, его постель была убрана, а самого и след простыл.

Все же нам снова довелось встретиться с ним, и не позднее, чем в то же утро.

Маленькая речка Стуколка, которую мы в прежнее время переходили в брод, не желая пользоваться трухля-

вым деревянным мостком, разлилась до размеров Волги, слизнув мосток. До ближайшего перевоза было километров шесть. Скрепя сердце двинулись мы берегом реки и вдруг увидели в камышах плоскодонку и старика рыбака, ботавшего сазанов. За десятку он согласился перевезти нас на ту сторону. Мы медленно двинулись наискось невысокой, но тугой резиновой волне. Глубина была такая, что длинный шест старика почти целиком уходил в воду. Волна гулко била в днище лодки; казалось, кто-то злой и упрямый пытается расстрелять нас снизу. Уже вблизи берега мы увидели темную полосу на воде, а рядом словно бы две кочки.

— Видать, перевернулись, — спокойно заметил старичок рыбак. — Разве ж можно на дубке пускаться! — Он покрутил головой и добавил с оттенком снисходительного восхищения. — Отчаянные!..

Подплыв ближе, мы увидели двух человек, по пояс в воде толкавших перед собой дубок.

— Эй, в лодке! — слышался знакомый, немного осплывший голос. — Спасайте наши души!

Голос принадлежал нашему ночному спутнику. Я с некоторым удивлением пригляделся к невысокому, шупловатому, но жилистому, средних лет человеку, с кирпичным, отвеса загорелым лицом, светлыми волосами, падавшими косою челкой на лоб, а на макушке торчавшим петушком. Ночью при свете коптилки он показался мне крупнее, старше, солидней.

— Весло упустили, — сообщил человек, когда мы подплыли вплотную. Перевозчик, толстый, губастый парень, смущенно гмыкнул. Мы приняли пассажиров на борт, а дубок забуксировали цепью. Усевшись на дно лодки, человек вынул носовой платок и, склонившись над водой, шумно и старательно высморкался. После этого он начал чихать. Чихал он минуты две с равными промежутками, хохолок на его макушке смешно вздрагивал.

— Волховский фронт, — наконец-то утомившись, сказал он и усмешливо добавил: — Полтора года болотного режима чудесно укрепляют здоровье!

Он достал из кармашка какой-то порошок, высыпал его в рот и, зачерпнув горсточкой воду, запил лекарство.

— Испортили вы себе охоту, — сочувственно заметил Леонтий Сергеевич.

— Что делать, — пожал плечами человек, — новый организм не купишь, приходится жить с этим...

В озерной сторожке, где мы сделали привал, человек разулся и сразу забрался на печь. Порасспросив сторожа, мы выяснили, что отсюда до Подсвятья есть два пути: ближний — водой, и дальний — в обход по суше. Наша старая тропка по берегу реки была затоплена.

— Хватит с нас воды, — сказал я и невольно посмотрел на печь, где прикорнул наш захворавший спутник. — Лучше сделаем крюк...

— Будь по-вашему, — пожал плечами Леонтий Сергеевич.

Он сложил на столе свой запас лекарств, без которых не ходил на охоту, хотя сам никогда не болел, и на вырванном из блокнота листке написал большими печатными буквами: «Три раза в день по две таблетки». Листок он вставил стоймя в щель стола, и мы вышли.

Не прошли мы и десятка километров, как наступила ночь, заставшая нас у околицы неведомой деревеньки, как потом оказалось — Конькова.

— Заночуем здесь, — решил Леонтий Сергеевич, — а завтра дадим последний рывок.

По обыкновению, мы зашли в первую от околицы избу, благо там горел свет, значит хозяева не спали.

Нам открыл рослый, плечистый, волосатый и немного хмельной дед.

— Заходите, заходите, — сказал он с обычным мещерским радушием, к тому же подогретым вином. — Тут уже один вашего звания обитается, — он кивнул на печь; из-за ситцевой занавески слышалось мерное, влажно-хриповатое дыхание спящего человека.

— Не помешаем? — спросил Леонтий Сергеевич, складывая в угол ружье и рюкзак.

Дед отлично знал, что вопрос задан из вежливости, но почел нужным дать подробные разъяснения.

— Кому мешать-то? Сын на озере, невестка в городе, дома одни мы с внуком. А энтот, — он снова кивнул на печь, — почитай без памяти. Вот уж верно: охота пуще неволи! Пришел — изо рта паром дышит, весь так и горит. Я его чаем с сушеной малиной напоил, в две шубы закутал и на печь. Может, отпотеет.

Мы обменялись с Леонтием Сергеевичем взглядом. Похоже, что человек на печке — наш давешний спутник.

Значит, купание в Стуколке не произвело на него должного впечатления: мог опередить нас только водой.

— И ведь с чем охотиться-то пришел, — дед с таинственно-смешливым видом поманил нас пальцем. — Видали? Он снял со стены одноствольное ружьишко, из тех, что продаются в магазинах в разгар охотничьего сезона по полсотне штука. — На что уж у наших охотников ружья неказисты, а таких не видывал. А боезапас, глянь-те, — и десятка патронов не наберется. Я ему говорю: с чем охотиться-то пришел? А он: нешто тут нельзя патронами раздобыться? Чудак-человек, у тебя ж патроны под жевело, двенадцатый калибр, а у нас только шестнадцатый в моде!

Дед говорил громко, не боясь, что человек на печи услышит. Меня, признаться, самого удивило в нашем знакомце сочетание редкого дорожного упорства с полным небрежением к охотничьему снаряду. Леонтий Сергеевич, верно, подумал о том же, но только пожал плечами: такт охотника не позволил ему осуждать собрата.

Мы сели ужинать, пригласив с собой деда. Мещерцы народ непьющий, вернее пьющий, но мало и редко. Ведь им необходимо всегда сохранять твердость руки и точность глаза. Но если мещерцу случится слегка оскорбиться, то он уже хочет иметь с этого полное удовольствие. Тогда мещерец, обычно человек сдержанный, задумчивый и немногословный, становится общителен, шумен и велеречив. Предметом его разговора, как правило, является Мещера, ни на что не похожая, особая, единственная. С необходимым для окружающих, хотя и задиристым, гонорком Мещера со всем, что в ней есть, перевозится над всеми землями, городами и весями. Наш дед не являл собой исключения, он только и ждал повода, чтоб обратиться к излюбленному предмету.

Этот повод вскоре дал Леонтий Сергеевич. У стола крутился внучек деда, мальчуган лет десяти — одиннадцати.

— На конфетку, — сказал Леонтий Сергеевич добрым голосом и погладил мальчика по спутанным русым волосам, — В каком классе учишься?

— Он уже отучился, — ответил за него дед, в то время как внук выедал из бумажки подтаявшую в кармане Леонтия Сергеевича шоколадную конфету. — Ему двенадцатый годик пошел.

— Что-то рано отучился! — озадаченно произнес Леонтий Сергеевич.

— У нас дальше третьего класса одни девчата учатся, — с достоинством пояснил дед.

— Почему так?

— А как же? Стукнет мальцу одиннадцать — ему ружье дают. Ну, и конец ученью. Весной да осенью — утка, зимой — заяц.

— Ну, а как же с всеобщим и обязательным обучением? — строго проговорил Леонтий Сергеевич.

— Мы — люди отдельные! — со смаком определил дед. — Мещера!..

Дед допил водку из граненой стопки, покрутил кудлатой головой и, радостно заблестев глазами, сказал таинственно и важно:

— Мещеру понять надо! — Он ткнул большим пальцем в черный квадрат окна. — Вон зареченские рыбаки и ботают, и удочками рыбку ловят, и жерлицами, и переметом, иные даже катушками разжились. А мы всем этим греем. Мы рыбку один раз в году ловим, как в старину ловили, зато сразу по пять-шесть центнеров берем.

— Это как же так? — спросил я.

— А очень просто, — обращаясь по-прежнему к Леонтию Сергеевичу, заслужившему особое его уважение, пояснил дед. — Притоки видал? Ну, каналы между озерами?.. По зиме наша Пра промерзает чуть не до самого дна, а рыба там, попросту сказать, задыхается. Тогда мы беремся за черпаки и гоним по протокам чистую воду к Пре. Рыба эту воду чует и, вся как есть, идет в протоку. Чтоб ей попросторнее было, мы устьице расширяем. Набивается ее там видимо-невидимо, только знай вычерпывай.

— Кто же это вам разрешает?

— Что значит — «разрешает»? — глядя мимо меня на моего спутника, гордо спросил дед. — Мы по договору с Заготрыбой промышляем.

— А-а! — с заметным облегчением протянул Леонтий Сергеевич.

— Как же иначе! Рыбачок заключит договор на четыре-пять центнеров, килограммов тридцать сдаст, остальное на рынок. Очень свободно!

— Но ведь это же обман! — морщась словно от зубной боли, сказал Леонтий Сергеевич.

— Известно: не обманешь, не продашь! У нас и охота круглый год. Нам иначе нельзя. Мещера!..

— Что у вас за присказка такая. Мещера да Мещера! — слышался с печи из-за ситцевой занавески протуженный голос.

Услышав эту фразу, дед вздрогнул, как боевой конь при звуке трубы, но промолчал. Он не хотел разговаривать с занавеской, считая это ниже своего достоинства, как не хотел разговаривать со мной: уж слишком неровней был я ему по годам. Он хотел разговаривать с Леонтием Сергеевичем, солидным, за сорок, человеком, от которого веяло домовитостью и жизненным опытом.

— Мещера!.. Мещера!.. — сквозь кашель проговорил человек на печке. — Будто вы впрямь из особого теста слеплены.

Дед с надеждой посмотрел на Леонтия Сергеевича. Верно, ему хотелось, чтобы и тот поддержал эту еретическую мысль: тогда ему радостно и сладко будет спорить. Но лицо Леонтия Сергеевича подернулось знакомым мне непроницаемым облаком, взгляд обратился в ту далекую пустоту, где не было ни приютившей нас избы, ни общительного и настырного деда, ни сердитого и колкого человека на печи, ни сомнительных разговоров, в которые его опять пытались втянуть.

После довольно продолжительного молчания дед пустился на хитрость.

— Чего ты говоришь? — спросил он Леонтия Сергеевича. — Я что-то не понял.

— Ничего я не говорю, — угрюмо отозвался Леонтий Сергеевич.

— Чего-то ты вроде сказал, будто мы какие особенные...

— Ничего я не сказал — повторил Леонтий Сергеевич, покосился на печку и каким-то тонким, раздраженным голосом воскликнул: — И не желаю ни о чем говорить, ясно?

Наступила неловкая пауза. Желая замять неприятную выходку Леонтия Сергеевича, придать ей иной смысл, я сказал:

— В самом деле, странно вы, дедушка, рассуждаете. Живете под боком у столицы, а понятия у вас... — Я не нашел, как определить понятия деда, и только покачал головой.

Дед, несколько сбитый с толку непонятной ему вспышкой Леонтия Сергеевича, радостно откликнулся на мое замечание.

— Что мы у столицы под боком — это еще с какой стороны взглянуть! Живем мы, верно, на самом стыке Московии и Рязанщины, а вот сколько, по-вашему, письмо от нас до Москвы идет?

— Не знаю, на второй день должно прийти...

— Верно, что должно. И приходит, коли ты его через московскую почту пошлешь по ту сторону Пры, а если здесь в ящик бросишь, то, дай боже, на восьмой, на девятый день придет. Тоже и к нам: считай, ден с десять... Так вот, как бы вам объяснить, — уже не с прежним гонорком, а как-то раздумчиво сказал дед, — вроде и вся жизнь к нам в обход идет да с опозданием.

— Что верно, то верно! — донеслось с печки. — А только с почтой можно бы наладиться.

— А как наладишься? Сын в районную газету писал, напечатали, даже денег запла́тили шесть рублей. А почту и вовсе перестали носить. Нас с тех пор газетчиками в деревне кличут. Вот и вся выгода!

Дед плюнул на пол, растер ногой и продолжал:

— Под боком у Москвы. А спросите, кто тут у нас бывал в Москве? О бабах и говорить нечего, а из мужиков, может, и наберется человечка два-три. Да что в Москве — в Рязани мало кто бывал. Мне вот седьмой десяток, а я из городов только Спас-Клепики видел. Разве вот кто в армии служил, те, конечно, свет повидали... Нет, нашу жизнь ни с кем равнять нельзя. Одно слово — Мещера! — с вновь пробудившимся гонорком закончил дед.

— Ну, за всю Мещеру ты не расписывайся! — послышалось с печи. Ситцевая занавеска дрогнула и поползла в сторону. Мы увидели теперь уже не кирпичное, а пунцовое от двойного жара лицо нашего дорожного спутника. Отчего-то потемневшие и словно завившиеся волосы колечками падали на лоб.

— Спасибо за лекарство, — сказал он Леонтию Сергеевичу, — очень вам спасибо!.. Послушай, дед, — обратился он к старику, — а может, вся беда в том и есть, что люди вы больно отдельные. Попробовали бы жить, как в той же Мещере другие живут. Не все ж дураки кругом.

— Это ты на что же намекаешь? — впервые отнесся к нему дед.

— Охота охотой, рыбалка рыбалкой, а ведь для сельского человека колхоз как-никак основа жизни.

— Чего? — Дед прищурился и взглянул на Леонтия Сергеевича, словно ожидая подтверждения. — Колхоз-оз?..

— Конечно, — казенным голосом подтвердил Леонтий Сергеевич. — Колхоз — фундамент...

— Понятное дело! — с торжеством, будто заранее предвидел такой оборот разговора, сказал дед. — Есть у нас колхоз, и Дунька в нем председатель.

— Кто она такая — Дунька! — спросил я.

— А кто ж она: Дунька и есть. У нас тут, как укрупнились, колхоз сразу развалился. Потому укрупнение это — одна только видимость. Подсвятье от нас почитай половину года отрезано, а до Болотной и летом-то не во всякую погоду доберешься. Да и чего укрупняться было? Комбайна здесь сроду не видели, не проходят к нам комбайны, да и нужды нет. Поля мелкие, дробные, все лес да болото, а все ж ки жили от него, от колхоза. Как укрупнили, так все и расползлось. Народ в правленье собратъ — и то дело немисленное!

— Постой, дед, ты про Дуньку хотел? — сказал человек на печке.

— К ней и веду. Колхоз у нас ныне такой: что посеем, то назад не берем. Бывает, телята потравят колхозную гречу, а народ и говорит: это хорошо, крестьянину польза и колхозу выгода — убирать не надо. Вот до чего дело дошло. Ясно, что в такой колхоз идти председателем никому неохота. В районе назначили к нам одного человека, конторой связи заведовал. Он уперся — ни в какую. Иди, говорят ему, в председатели или клади партийный билет на стол. Он подумал-подумал и решил: чем сперва мучиться, а потом билет отдать, так лучше уж сразу. И положил билет. Тогда за другого взялись: он недавно из Москвы в район переехал. Тем же манером к нему. Он и говорит: я уж под это дело с Москвой расстался, хватит с меня. И тоже партийный билет на стол. Ну, город маленько в сомненье пришел: этак всю партию в районе разогнать можно. Тут и вывернулась эта Дунька. Она в военном санатории уборщицей работала, а вообще местная, подсвятьинская. И кто бы подумал: кандидат в партию. «Гарантируйте, говорит, мне четыреста рублей зарплаты, приму колхоз». В городе обрадовались и провели...

— Ну, и как она?

— Чего как: Дунька — она Дунька и есть. Зарплату получает.

— Зачем же вы ее выбирали?

— Чего? — не понял дед. — А как не выбрать? Не ее, так кого другого еще почище навяжут.

— Здорово вы, однако, осведомлены о том, что в городе делается! — с какой-то смешной интонацией сказал человек на печке.

— Мы-то сведомы, да вот город не больно о нас сведом. Неинтересная наша жизнь, товарищи дорогие, очень неинтересная! — сказал дед строго и печально. — Все куда-то движение имеют, одни мы будто в трясины увязли: ни назад, ни вперед. Так ли уж широка речка Пра? По ветру полчаса всего и ходу, а поглядите вы зареченскую жизнь и нашу. Будто цельный век между нами лежит. У них и электричество, и радио, и кино, у них школа-десятилетка, клуб; к ним, сказывают, артисты с самой Москвы приезжают. А у нас коптилка, у нас па три деревни у одного подсвятыйинского Анатолия Ивановича; — может, слыхали, — радио имеется. Так он, кроме последних известий, ничего не слушает, батарейки бережет. Одиковели мы тут, на отшибе, что и говорить!

— Но в чем же, в чем причина!.. — неожиданно вернувшись из своего бесконечного далека, спросил Леонтий Сергеевич. — Нельзя же так.

— А в том, мил-друг, что забыло о нас начальство!

— Начальство начальством, — громко сказал человек на печке, — да не в нем одном дело. Привыкли к плохой жизни — вот что худо!

Дед никак не отозвался на эти слова, только покачал головой, то ли соглашаясь с человеком, то ли отвечая каким-то своим мыслям.

— Что же, у вас никто не бывает из района? — спросил я.

— Как же, приезжали инструктора с райкома, случилось. Да ведь как приезжали! Один заявится в разгар охоты, другой под рыбу угодит; народ, конечно, в расходе. Пошебуршит он с председателем — и драла назад.

— Ну, а секретарь райкома?

— У нас главным секретарем почитай шесть лет женщина сидела. Ну, куда ей было в такую глухомань ехать? Потом, правда, мужчина значился, только у него, говорят, в обычае было: из города ни шагу. После обратно

мужчина состоял, тот, верно, приехал раз. Прямо к нам приехал, в самую что ни на есть глубинку, в самое что ни на есть подходящее время — в марте! — старик рассмеялся долгим-долгим, в слезу, смешком. Казалось, он никогда не наладится, так рассмешило его воспоминание о секретарской поездке.

— Ну, и чем же кончилось?

— То-то и оно, что ничем, — сказал дед, перестав смеяться. — Об тот год распутица была вроде нонешной. Секретарь отважный был, напрямки через Великое пустился. Ну, конечно, побрызгало его, сердягу, он на берег чуть живой выбрался. Тотчас в избу и водки требует. Народ, конечно, обрадовался: за пол-литром, известно, самый душевный разговор идет. Наладили парус и махнули в Фалеевку за двенадцать километров. Чуть не утопли, но полушечку раздобыли. А секретарь эту водку в наружное пустил, обтерся ею с маковки до пят, спросил лошадей да и дунул восвояси. Говорят, его сейчас сняли, так сказать по совокупности дел... Вот как о нас начальство печется!..

— Это ж бог знает что! — прорвался вдруг Леонтий Сергеевич. В коротком, взволнованном негодующем жесте руки словно впервые приоткрылось запертое за семью печатями его неубитое сердце. — Гоголевщина какая-то! Подумать только, таким вот мертвым душам доверяют живых людей!..

— Потерпите, не все сразу, — насмешливо произнес человек на печке, возвращая Леонтию Сергеевичу его собственную реплику. — Мы же столько строили!

Человек этот, видимо, был совсем не прост и куда более приметлив, чем нам казалось. Леонтий Сергеевич недоуменно вскинул брови, затем густая краска стала медленно заливать его лицо.

— Я понимаю вашу иронию, — тихо сказал он, — но, признайтесь, это пострашнее бездорожья.

— Одной цепи звенья! — резко кинул человек. — И дома с колоннами, которые ничего не поддерживают, и дикое бездорожье рядом с автострадой, и то, что рассказал нам дед. Теперь это видно, как никогда! И народу чуждо и враждебно сейчас все, что идет от глупости, от жестокости, от произвола, все показное, парадное, всякая пустая видимость и этакая скверная привычка к плохой жизни. А есть еще люди, — человек очень пристально

поглядел на Леонтия Сергеевича, словно на мушку взял, — которые так сроднились с бедой, с памятью о беде, ну как больной свыкается с болезнью. Они столько лет, хоть и невольно, загоняли внутрь себя все живое, искреннее, смелое, что и теперь никак не решаются жить в открытую. Понять-то это можно, а только грустно это...

Леонтий Сергеевич как-то болезненно смутился, он засуетил глазами, ресницами, каждой черточкой лица.

— Вот, дед, какие дела, — отведя взгляд от Леонтия Сергеевича, сказал человек обычным своим голосом. — Выходит, ты и сам понимаешь, что так жить дальше нельзя!

— С чего это ты взял? — снова взгонорился дед. — Никто не жалуется. Мы люди отдельные! Пока рыба ловится, утка летает, мы ни от кого не зависимые.

— А ну как запретят охоту? — слышалось с печи.

— Это как же так — запретят?

— Очень просто — запретят, и все. По всей средней России.

— Может, где и запретят, — уверенно сказал дед, — да только не у нас в Мсщере! — Но, видно, что-то кольнуло его, потому что вслед за тем он спросил с ноткой тревоги: — А что — нешто был такой разговор?

— Не только разговор, а решение заготовлено, — твердо ответил человек. — Насчет будущей весны — это точно. А может, и на весь год, а то и на два. Зима на юг спустилась, вымерзает птица на зимовьях, от бескормицы гибнет. Лебеди, на что выносливые, и те вымирают...

— Беда! — искренно огорчился дед. — Правильно, что запретят, надо птице свой убыток пополнить. Только до нас это не касается, мы как стреляли, так и будем стрелять.

— Вам, что же, закон не писан?

— Не писан, дорогой товарищ, для нас охота — не баловство, мы только с нее и живем.

— От браконьерства убыль не меньшая, чем от заморозков на юге...

— Ты, часом, не по охране дичи работаешь? — подозрительно спросил дед.

— Отчасти и по этому делу, — чуть приметно усмехнулся человек.

— Так я тебе скажу, не знаешь ты Мещеру. Когда у других пусто, у нас густо. Мещера вовек дичью не обедняет.

— Ты так думаешь, дед? — почти с грустью спросил человек. — А где мещерский бобр?

— Бобра, это верно, повыбили, — охотно согласился дед.

— А много ль у вас лосей осталось?

— С лосем тоже маленько перестарались.

— А выдра куда девалась?

— Выдру уничтожили подчистую, — радостно, будто, наконец, поймал своего собеседника, вскинулся дед. — Выдра рыбу пожирает; у нас закон: илешь на реку, бери ружье и бей ее без пощады, гадюку. Так что насчет выдры будь покоен...

— Скажи, дед, а не замечал ты, что в последние годы рыбы меньше стало? — все так же негромко, но с каким-то завораживающим напором спросил человек.

Быть может, ощутив этот напор, я вдруг понял, что человек на печи ведет разговор неспроста, вовсе не из желания убить время или одержать верх, как то бывает с любителями поговорить. Нет, у него, похоже, была какая-то далекая цель, была еще до того, как он перехватил нить разговора. Я увидел, что и Леонтий Сергеевич с острым вниманием прислушивается к спору.

— Рыбы хватает! — беспечно сказал дед, но тут же с добросовестностью старого человека поправился: — Оно, конечно, не то что в прошлые годы, а ничего, жить можно.

— Эх, дед, дед, — человек с укором покачал головой. — Потому-то и рыбы стало меньше, что выдру поббили. Выдра только большую, слабую рыбу хватает, ей за сильной, здоровой не угнаться. Не стало выдры — болезнь по рыбам пошла...

— Может, и так, — тихо подтвердил дед. — В природе, и верно, круговерт существует. — Он стал как-то очень внимательно прислушиваться к тому, что говорит человек, но сдаваться все же не хотел. — Мещера птицей сильна...

— А куда же глухарь подевался, дед? Тетерев? Вальдшнеп? Кроншнеп?

— Боровой дичи у нас не водится. Я вот сельмой десяток живу, отродясь в наших местах ни глухаря, ни

тетерева не встречал. А этого, как его там... кронштейн и прозвания не слышал.

— Вон как! — сказал человек и полез в нагрудный карман гимнастерки. Он вынул оттуда пачку плотно смявшихся от долгого лежания бумажек и отделил тонкий листок с каким-то печатным текстом. — Вот, послушай, что писали в «Охотничьем журнале» семьдесят пять лет назад: «...Издавна славилась своими глухаринными и тетеревиными токами лесистые берега Пры. К сожалению, несоблюдение правил и сроков охоты, уничтожение самок на токах привело к тому, что ныне эти ценные птицы исчезают...» Что, дед? Лет этак через пятьдесят станут говорить: «Утка? Да у нас в Мещере сроду утка не водилась!..»

— Погоди маленько, — дед вдруг сорвался с лавки и выбежал в сени; мягко хлопнула входная дверь, дохнув пахучей сыростью.

Вернулся дед не один; с ним явились четверо сельчан. Вошли они, как входят опоздавшие на собрание: осторожно ступая, не глядя по сторонам, ни с кем не здороваясь, держа в руках шапки, и тесно уселись на ближайшую к двери лавку.

— Наши мужички, — сообщил дед, — им тоже занятно послушать, что до Мещеры касается. Не повторите?

— Отчего же, — сразу согласился человек и спрыгнул вниз. Прижавшись спиной к теплу печки, он стал перед людьми в старых военных брюках и шерстяных, с надвязанными пятками, носках, с красным от жара лицом и влажной от испарины головой, небольшой, но жилистый, собранный и колючий. Прерывая себя глухим кашлем, он рассказал и про бобра, и про лося, и про выдру, и про боровую дичь, и снова прочитал вырезку из журнала. Один из пришедших, здоровенный дядька с румяным лицом в черном, как вакса, окладе давно небритой щетины, стукнул себя ладонью по колену и громко сказал:

— Точно!

Видимо, это соответствовало каким-то его собственным, невысказанным мыслям и наблюдениям, и мне показалось, что после этого свидетельства и у деда и у других мещерцев отпало всякое сомнение в правдивости того, о чем говорил человек.

— Может, оно и так, а только на наш век дичи хватит, — с прежним куражем заговорил дед, прервав долгое и тяжелое молчание.

— На твой век оно, конешное дело, хватит, от тебя уж землей пахнет, — зло отозвался румяный охотник. — Может, и на мой хватит, а вот что детям моим останется? Нет, я на это несогласный!..

Трое других охотников шарком, вздохами, покашливанием выразили ему свое одобрение.

С детской, беспомощной обидой посмотрел дед на человека, стоявшего у печки.

— Лучше бы не приходил ты сюда! — сказал он в сердцах. — Только растравил душу!..

— Вольно ж бояться правды, — пожал тот плечами.

— Тебе что: пришел, наговорил и ушел. А нам дальше жить...

— Вот давайте и поговорим об этом...

— А что с тобой говорить! — Дед невесело усмехнулся. — Подумаешь — секретарь райкома выискался!..

— Правильно, дед, я секретарь и есть, — последовал спокойный ответ. — Две недели как выбрали.

Охота воспитывает в человеке находчивость и самообладание: остолбенение деда длилось не более секунды.

— Ловко я тебя вывел, — сказал дед, оглядывая всех сияющими глазами. — Думаешь, кабы не сразу смекнул, стал бы я с тобой лясы точить? Я уж тебя по ружью распознал: нешто пойдет кто охотиться с таким дрючком?.. Ну, давай теперь порядком знакомиться, товарищ первый секретарь райкома...

Я посмотрел на Леонтия Сергеевича. Какая-то неуловимая перемена произошла в его облике: у него были новые глаза. Не то что новые — такие глаза, были у него, верно, в молодости, когда он и в мыслях не имел отдать все силы своей живой души хазарскому орнаменту...





ВЕЙМАР И ОКРЕСТНОСТИ

На чугунной решетке ворот Бухенвальда сделана надпись чугунными буквами: «Jedem dass seine», — «Каждому — свое». Мы, группа московских туристов, долго стоим перед этой надписью и словно не решаемся пройти за ворота, на землю бывшего лагеря смерти.

— С добрым утром! — раздается негромкий, мягкий, но очень ясный мужской голос. В сопровождении нашего постоянного спутника, работника Берлинского Рейзбюро Петера Шульца, к нам подходит среднего роста, сухощавый, хорошо сложенный мужчина с большими темно-кариыми глазами, кажущимися черными по контрасту с голубоватой сединой волос. У него красивое, твердо очерченное лицо, несколько бледное, несмотря на тонкий и ровный слой желтоватого загара. На нем

легкий плащ из прорезиненной ткани, серый фланелевый костюм, коричневые замшевые туфли, на белизне накрахмаленной рубашки узкий модный галстук, заколотый булавкой.

— Познакомьтесь, товарищи, — говорит Петер. — Экскурсовод Георг Бергер, бывший узник Бухенвальда.

Мы поочередно пожимаем узкую, сухо-горячую руку Георга Бергера.

— Нун, форвертс! — говорит он с улыбкой и первый устремляется в ворота.

У Георга Бергера своеобразный, легкий и вместе чуть торжественный шаг. Впечатление торжественности создается от того, что он ходит не совсем обычно — не с пятки на носок, а наоборот.

Он сперва касается земли концом чуть оттянутого вперед носка, затем утверждает на земле ступню. Его поступь напоминает строевой парадный шаг. Впрочем, уже через несколько минут после нашего знакомства эта походка перестает удивлять. Учитель истории Георг Бергер, заключенный в Бухенвальд в 1938 году за отказ обнажить голову перед портретом фюрера в день его рождения, провел в лагере семь лет. Каждое утро, после переклички, заключенные должны были маршировать под требовательным взглядом коменданта лагеря. При этом их заставляли петь шуточные нацистские песни. Это была провокация: политических заключенных, не желавших петь фашистских песен, выводили из строя и подвешивали на столбе.

— Это выглядело вот так... — поясняет Георг Бергер.

Сцепив за спиной руки, он медленным движением подымает их над головой. Кажется невероятным, что плечевые кости не выламываются из суставов. Коротко улыбнувшись, Георг Бергер расцепляет пальцы и роняет руки вниз.

Другая цель «пения» была чисто практическая: под эти песни расстреливали осужденных у дверей крематория. Тысячеголосый хор заглушал выстрелы и стоны раненых. С зимы 1941 года пение стало каждодневным: расстреливали пленных русских офицеров...

Мы выходим на территорию бывшего лагеря. Перед нами расстилается пустырь, поросший низкой и очень зеленой травой, как на футбольном поле. Пустырь обнесен колючей проволокой, туго натянутой на железные

столбы. В обширном, пустом пространстве бараки, где ютились заключенные, не уцелели — кажутся совсем неприметными грубо сколоченная повозка, ручной чугунный каток и столб с железной скобой.

Георг Бергер подводит нас к столбу и, став на доски, касается скобы кончиками пальцев.

— Вот здесь подвешивали...

Затем он поворачивается к повозке, груженной крупными желтыми кусками породы.

— Из этого камня ничего не строили — его только возили взад и вперед по всему лагерю. Этот вот каток ничего не трамбовал, хотя находился в движении с утра до вечера...

Георг Бергер нагибается и с силой отдирает глубоко въевшуюся в землю, почти невидную за травой рукоять катка. Он обхватывает ее снизу тонкими, длинными пальцами.

— Час за часом толкали заключенные этот каток по широкому кругу, и он не оставлял никакого следа на твердой, плотно укатанной многими поколениями узников земле. Быть может, потому, что не видишь ни результата, ни конца этому труду, силы иссякают куда быстрее, чем при любой, хотя мало мальски полезной работе. Я знал заключенных, которые месяцами выдерживали каторгу каменоломен и надрывались в первые же часы у этого катка. Даже секундная передышка стоила пули в затылок. И люди шли, шли, приваливаясь друг к дружке, своим телом поддерживая соседа и находя поддержку у него. И вдруг твое плечо теряет опору — сосед упал, и надсмотрщики добивают его дубинками, начиненными свинцом. Иной раз смерть постигала человека на ходу, и он волокся за катком, не выпуская его из мертвых рук. А ты, вместе с теми, кто остался в живых, идешь дальше, идешь, уж ничего не видя, но все же выписываешь круг, потому что круг — это путь слепца. И бывало — ты начинаешь путь вшестером, а заканчиваешь его один... — Голос Георга Бергера звучит по-прежнему спокойно и ясно, в уголках губ — вежливый намек на улыбку, и, верно, он сам не замечает, как напряжились его руки, подалась грудь к железной рукояти, туго спрямилась спина, — тяжеленный чугунный каток, за годы бездействия образовавший вдавленную в земле, ржаво скрипнул и сдвинулся с места.

Веки Георга Бергера затрепетали, кожа тонко растянулась вокруг сведенного рта, все лицо заострилось, и на миг из-под обличья корректного, расчетливо-сдержанного в каждом движении экскурсовода проглянул узник Бухенвальда.

Георг Бергер тут же выпустил рукоять катка и, вынув из кармана носовой платок, старательно вытер пальцы. Тихим смешком он прикрыл смущение. Он забылся, он вышел из роли точного передатчика фактов. Быть может, недовольство собой придало голосу Георга Бергера особенно вежливую сухость, когда он предложил нам проследовать дальше...

Мы идем за Георгом Бергером путем, который для стольких узников лагеря был последним путем в жизни. Мы обходим камеры, комнаты пыток, помещения, где расстреливали, подвалы, где вешали, крематорий с его печами и электрокарами. Георг Бергер больше не дает себе забыться, он подчеркнуто скуп, точен и бесстрастен. Он называет трехзначные цифры убитых в каждом отсеке и подводит шестизначные итоги. Он не пропускает ни одного экспоната Бухенвальдского музея. Мы осматриваем блестящие, как в зубоврачебном кабинете, инструменты для выделки человеческой кожи, орудия пыток, заспиртованное простреленное сердце, урну с человеческими костями, гору женских волос и горку заскоружлых тупоносых детских башмаков, сумки из татуированной кожи и высушенные в горячем песке, размером с ананас, головы...

Представитель Рейзебюро, моложавый и полноватый Петер Шульц, уже несколько раз со вздохом поглядывал на часы: видимо, мы опаздывали либо на обед, либо на какое-то очередное экскурсионное мероприятие. Петер Шульц был неумолим во всем, что касалось графика поездки, ему не раз случалось прерывать на полуслове слишком многословного экскурсовода, если тот ставил под угрозу график. Но разве прервешь человека из Бухенвальда? В ровном, бесстрастном голосе Георга Бергера странная, завораживающая сила. Бухенвальд растет, ширится, его гигантская тень простерлась над пространством и временем. И, отирая пот, страдальчески кругля глаза, Петер тащится за нами со своим толстым портфелем, макинтошем и зонтиком...

Мы снова на пустыре. Наши взгляды, покорные движению сухой, узкой руки экскурсовода, обращены теперь за колючую проволоку, туда, где среди зеленеющих деревьев видны останки двухэтажных домиков. Здесь, в десятке метров от ограды, находились дачи эсэсовцев, сад для прогулок их жен и детей и маленький тиргартен с медведями, лисами, оленями, ланями и зелеными, вечно орущими попугайчиками.

— Пройдем дальше... — говорит Георг Бергер.

Петер Шульц давно перестал даже вздохами выражать свое нетерпение

Трудно сказать, сколько уже времени длится наша экскурсия — час, день, вечность. Ощущение такое, будто ты валишься в черную, бездонную яму и, как во сне, не можешь скинуть с себя душный ужас падения. А потом уже хочется, чтобы падение длилось бесконечно, потому что возвращение к привычной дневной обыденности кажется невозможным.

И все мы не почувствовали никакого облегчения, когда вдруг оказалось, что наша мучительная экскурсия закончена. Но ярко светит майский день, а к воротам уже подкатил наш цветастый, украшенный флажками автобус.

У ворот лагеря с чугунными буквами: «Каждому — свое» — мы в последний разжимаем сухую, горячую руку Георга Бергера. Сейчас мимо нас привычно замелькают по сторонам шоссе распустившиеся буки, тополя с крупными, в детский кулачок, лопнувшими почками, каштаны, выпустившие первые бледно-зеленые стрелки листочков, опушенные, готовые зацвести яблони; затем мы увидим красные, черепичные крыши Веймара, белые, желтые стены домов, испещренные памятными досками, золотые вывески погребков, одутловатого Карла-Августа на бронзовом коне, Шиллера и Гете, шагающих об руку сквозь века. Георг Бергер останется здесь, у пустого зеленого, обнесенного колючей проволокой поля, которое силой его неутихшей памяти так легко населяется призраками былого. Уезжая, мы увозим с собой его короткую, чуть трогательную улыбку, крепкое рукопожатие, оставляющее тепло в ладони, его странную, словно он все еще шагает в ряду заключенных, чуть торжественную походку.

Автобус трогается. Георг Бергер приветственно поднимает руку, затем сразу поворачивается и своим четким

шагом идет к новой группе поджидающих его туристов...

В этот день ни у кого из нас не было желания осматривать исторические памятники Веймара. Поняв наше настроение, неутомимый Петер Шульц впервые предоставил нас самим себе. Мы разошлись кто куда. Я долго бродил по городу, не давая себе труда вчитываться в многочисленные мемориальные доски, затем спустился в маленький погребок неподалеку от Виланд-плац. Полутемный, старинный кабачок был почти пуст, если не считать двух подростков в коротких замшевых штанах и зеленых тирольских курточках, пивших пиво в уголке погребка. Они даже не пили, а цедили пиво, стараясь до бесконечности растянуть удовольствие. Да еще следом за мной вошла и заняла соседний столик стриженная под мальчишку женщина в темной шерстяной юбке и клетчатом жакете. Она с шумом уселась за столик, разложив вокруг себя множество вещей: лакированную сумочку, стянутую шнуром кошелку, кожаную папку, серые замшевые перчатки, красный с синими полосами зонтик.

— Обер! — позвала женщина сильным носовым голосом, и, когда рядом с ней очутился кельнер в хвостатом фраке и белой манишке, твердой, как панцырь, она коротко бросила: — Обычное!

— Эйн коньяк! — крикнул кельнер, оборотясь к стойке, словно кондуктор, объявляющий остановку.

Через секунду он поставил перед женщиной рюмку коньяка и бутылку сельтерской.

Я спросил пива. Кельнер бросил на стол картонный кружочек с гербом Веймара в центре и названием погребка по краю, затем ловко поставил, вернее как-то плавно сбросил на картонку запотелый, продолговатый и пузатенький сверху бокал пива. Устав от острых и тягостных впечатлений утра, я с удовольствием сосредоточивал сейчас внимание на простых вещах. Мне нравилось следить за резко-изящными, тренированными движениями кельнера, за этой женщиной, от которой веяло чем-то очень уютным, житейским, прочным.

У женщины было круглое лицо, короткая, мальчишеская стрижка, большие серые, блестящие и все же усталые глаза. Усталость ощущалась в чуть желтоватых белках, в недряблых, но обмякших и истончившихся нижних веках. Женщине было немного за сорок. В ее стрижке,

в следке помады на губах и крошках пудры на носу, в чуть излишне смело открытых мускулистых ногах чувствовалось желание выглядеть моложе своих лет, но время не подарило ей ни одного года. Ее сильные, немного подавленные плечи и узковатая для крупного тела округлившаяся спина несли полное бремя нелегко прожитых лет.

Женщина часто поглядывала на часы, нервным, нетерпеливым движением поправляя часовой браслет. После этого она открывала сумочку, доставала зеркальце, пудреницу, пудрила нос и морщинки между густыми бровями. При этом у нее делалось огорченное лицо. Она кого-то ждала, и человек этот опаздывал. Она чувствовала, как с каждой минутой пропадает в ней та непрочная прелесть, которую дарит на миг и стареющей женщине ожидание и волнение встречи.

Вылив полрюмки коньяка в бокал, женщина добавила туда сельтерской, отчего смуглый коньяк бледно пожелтел, быстрыми глотками выпила смесь, затем вылила в бокал остатки коньяка и совсем немного сельтерской. Покончив и с этим, женщина раскрыла сумочку, посмотрела на свои синевато зарумянившиеся щеки, тронула пуховкой нос и лоб и крикнула кельнеру тем же сильным, носовым голосом:

— Обер! Нох ейн маль!

Когда кельнер поставил перед ней новую рюмку коньяка и другую бутылку сельтерской, напряженное выражение лица женщины смягчилось — что-то отпустило ее внутри, — стало милее, проще, я бы сказал сентиментальнее, и я вдруг узнал ее. Она была нашим гидом по гетевским местам. В том, что я не узнавал ее так долго, не было ничего удивительного. За дни, проведенные в Веймаре, у нас сменилось до десятка экскурсоводов. Были среди них и профессиональные гиды, школьные учителя и функционеры ФДЕ, журналисты и даже молодая евангелистка из Консума. Один водил нас по домику Шиллера, другой был специалистом по Гердеру, третий показывал Клопштокхауз, даже для осмотра памятника Виланду к нам был приставлен особый гид, что же касается гетевских мест, то здесь у нас сменилось целых три экскурсовода.

И надо сказать, что почти все они смазались в моей памяти, кроме этой женщины, водившей нас по гетевскому парку. Она запомнилась мне по одному, немного

смешному обстоятельству. Рассказывая нам жизнь Гете, она даже не упомянула о первой любви поэта — Шарлотте Кестнер, она коротко и сухо сказала о Шарлотте фон Штейн, самой большой и долгой любви зрелого Гете. Всю свою нежность она отдала Христине Гете, законной жене. Она рассказывала о том, как юная Христина поджидала Гете, с которым даже не была знакома, у дверей театра, чтобы вручить ему пьесу своего брата. Как поразило Гете ее «лехерлихес гезихтхен», и случайная встреча превратилась в многолетнюю супружескую связь; о том, как трудолюбивая Христина однажды задремала за пальцами у окна, и была так хороша и трогательна, что вошедший в комнату Гете не стал ее будить, а, взяв карандаш и лист бумаги, набросал портрет милой спящей жены. С увлажненными глазами говорила она о том, что после смерти Христины Гете перенес свою спальню в крошечную комнатку при кабинете. Она сетовала лишь на то, что примерная чета не была счастлива в потомстве.

Многочисленные воспоминания современников рисуют совсем иной образ спутницы Гете. Подавленная своим неравенством с мужем, его вежливым и безграничным равнодушием, Христина стала искать утешения в рюмке. Гете снисходительно относился к этой слабости жены, даже в тех случаях, когда заставлял ее за чашей в обществе офицеров местного гарнизона...

Меж тем в погребеке сгущался сумрак, но, словно чувствуя тихое настроение присутствующих, кельнер не зажигал большой люстры, оформленной под старинный фонарь. В ровном, мягком полумраке по-дневному светлым казался краешек окна, возвышающийся над тротуаром. В длинной, узкой полоске света то и дело мелькали ноги прохожих. Вот протопали сапоги с коротким, жестким голенищем, тесно прижатым к тускло-зеленому, с седым начесом, сукну брюк в обтяжку, — лесничий. словно ножницами простигли светлый прямоугольник синие брюки рабочего комбинезона, спускающиеся на грубые, железом подбитые башмаки; мелькнули цветные гетры и туфли на толстой подметке из эрзац-резины школьника; стянутые у шиколотки шнурком и почти скрывающие обувь брюки мотоциклиста; множество замшевых, преимущественно коричневых, дамских туфелек на высоких, низких каблуках и совсем без каблуков; проплыли под черным раздувом подола темные,

плоские полуботинки монашенки с тусклыми оловянными пряжками. И среди всех-всех куда-то спешащих брюк, гольфов, штанишек, юбок — пара серых фланелевых брюк, широкие манжеты которых немного не достигали коричневых замшевых туфель, показалась мне вдруг знакомой. Собственно, не брюки и туфли, столь обычные для любого прилично одевающегося веймарца, а походка их обладателя, легкая и словно бы торжественная, оттого что человек сперва касался земли вытянутым вперед носком, затем впечатывал ступню в тротуар. И прежде чем я успел назвать его про себя, хлопнула на тугих пружинах дверь, легкие шаги шуршаще скользнули по каменным ступенькам погребка, и показалась сухощавая, стройная фигура, энергичское, матово-бледное лицо, темные глаза и голубоватая седина Георга Бергера.

— Добрый вечер, Гизелла! — сказал он своим ровным, отчетливым голосом, в котором сейчас было немного больше тепла.

— Ты опять опоздал, Георг! — с упреком отозвалась женщина.

— Дорогая, я не мог раньше. Столько посетителей! С утра были советские туристы... — говоря так, Георг Бергер целовал Гизелле руку, затем долго искал, куда бы повесить свой макинтош и, не найдя вешалки, бросил его на спинку стула. Плащ тут же сполз на пол, тогда Георг Бергер подложил его под себя на кресло. Его сдержанно-изящным движениям не хватало точности; там, в лагере, они были какими-то более уверенными и непринужденными. То ли он был смущен своим опозданием, то ли в характере их отношений что-то сковывало его, — женщина пристально следила за этой возней с плащом.

— Милый, — сказала она, — ты же не один там, а туристы бывают каждый день.

— Ну, не сердись. Будь хорошей. Что ты пьешь? И я буду коньяк. Кельнер... — позвал он, но ровная интонация его голоса не вывела кельнера из состояния готового и несколько сонного ожидания. Георг Бергер постукал ногтем по бутылке сельтерской.

— Обер! — громко сказала Гизелла. — Два коньяка.

В ожидании напитка оба молчали. Затем, когда коньяк был подан и разлит по рюмкам, Георг Бергер поднял рюмочку, низко, с чуть старомодной вежливостью

наклонил свою серебристо-голубоватую голову и выпил коньяк. Гизелла поднесла к губам рюмку и оставила ее.

— Когда это кончится, Георг? — сказала она тяжелым голосом.

— Но это же мой долг, Гизелла...

— Не надо о долге, Георг. Свое бессилие, свое неумение изменить обстоятельства мы любим называть долгом... Помнишь, когда-то мы мечтали преподавать в одной школе, ты — историю, я — литературу...

— Дорогая моя, я не выбирал себе судьбы. Но разве то, чем я занимаюсь сейчас, не история? История, не менее важная, чем... ну, чем Грюнвальдская битва. — Короткая улыбка тронула его губы и чуть задержалась, придав на миг его мужественному лицу выражение странной неуверенности.

— Ох, не надо, милый. Я все это слышала. Неужели тебе самому не хочется вдохнуть другой, чистый воздух, быть среди детей, Георг, очиститься, помолодеть с ними...

— Да, да...

— Но послушай, Георг, у меня в выпускном классе есть два ученика: Гельмут и Курт. Если б ты познакомился с ними, Георг! Какое доверие к будущему чувствуешь рядом с ними!.. Они очень разные, очень непохожие. Гельмут — ФДЕТ, его отец и старший брат члены СЕПГ, Курт — евангелист, сын эсэсовского офицера, застрелившегося на другой день после капитуляции. И как же они дружат, Георг! Дружат в книгах, в стихах, в занятиях, в спорте, даже в любви. Они влюблены в двух сестер. — Гизелла подняла рюмку и будто невзначай выпила ее. — Знаешь, однажды я прямо спросила: не мешает ли их дружбе то, что они придерживаются разных убеждений. Я чувствовала, что могу спросить их об этом. Они сказали, что уважают всякие убеждения, кроме нацизма. А Гельмут добавил: мы хотим для Германии одного и того же. Разве это не прекрасно, Георг?

— Да, это прекрасно, — убежденно по тону, но несколько рассеянно отозвался ее собеседник. — Только...

— Только не лги, Георг, что тебя не отпускают, — почти грубо прервала его Гизелла. — Я сама говорила с Кирхгофом... Обер!.. Еще коньяк!

Выписав подносом сложный вензель, кельнер поставил перед ней рюмку коньяку.

— Сельтерской?.. — спросил он.

— Не надо. — Она подняла рюмку и резким движением опрокинула ее в рот. Когда она ставила рюмку на столик, рука ее задрожала, и рюмка звонко переступила тонкой ножкой.

— Ты много пьешь, — мягко сказал Георг Бергер.

— Чепуха, — сказала Гизелла. — Я могу совсем не пить.

— Но ты все-таки пьешь.

— Перестань, какое это имеет значение... Важно другое, Георг, мои старые руки, мое старое лицо. Я — старая женщина, ты понимаешь это? Но я все еще хочу мужа, хочу семью, хочу детей. Один бог знает, как я хочу детей!

— Но я же не раз говорил тебе, Гизелла, пойдем в магистрат...

— Нет, Георг. Не это мне нужно. Мне нужно, чтобы ты был моим, а я твоей. Ты никогда не бываешь моим, даже когда мы рядом, не здесь, в кабачке, а по-настоящему, совсем рядом.

— Так подожди еще немного, дорогая. Мне надо развязаться со всем этим...

— Я столько ждала, Георг. Я ждала семь лет, пока ты находился в лагере. Я ждала еще три года, пока ты ездил по судам: то в качестве свидетеля, то наблюдателя, то уж не знаю кого. Я понимаю, что тебе это нужно. Затем ты начал водить экскурсантов, делегации, туристов, случайных любопытных. Это был твой долг как очевидца. Я снова ждала. Война кончилась одиннадцать лет назад, а я все жду.

— Ну, зачем так безнадежно смотреть на вещи, дорогая. Время...

— Молчи! — воскликнула женщина и даже протянула руку, словно хотела зажать ему рот. — Георг, бедный, молчи! Я все поняла сейчас. Вдруг все поняла, будто повязка спала. — Ее глаза расширились выражением ужаса и боли. — Я не дождусь тебя, сколько бы ни ждала. Ты никогда не выходил и никогда не выйдешь из лагеря, Георг. Ты — бессрочный Бухенвальда...





ЗИМНИЙ ДУБ

Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой прерывистой тени на снегу угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с нас молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, стужей охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых

ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.

Свежесть напоенного светом январского утра будила радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе — всюду ее знают, ценят и называют уважительно Анна Васильевна.

Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: шпиль старой церковной колокольни дотянулся до крыльца Уваровского сельсовета; сосны, росшие на том берегу реки, легли рядком по скосу этого берега; ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.

Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» — с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминешься, а шагни в сторону — мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дороги уваровской учительнице.

Они поровнялись, — это был Фролов, объездчик с конезавода.

— С добрым утром, Анна Васильевна! — Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой.

— Да будет вам! Сейчас же наденьте, такой морозище!..

Фролов, наверное, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Полушубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.

— Как Леша-то мой, не балует? — почтительно спросил Фролов.

— Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, — в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

— Лешка у меня смирный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна снисходительно кивнула ему и пошла своей дорогой...

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе за невысокой оградой; снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребяташки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.

— Сегодня мы продолжим разбор частей речи...

Класс затих, стало слышно, как по шоссе с пробуксовкой ползет тяжелый грузовик.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи... существительным называется часть речи...» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке волос и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:

— Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить, кто это или что это? Например: кто это? Ученик. Или: что это? Книга...

— Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, ставая, гасли

морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.

— Ты опять опоздал, Савушкин? — Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, наверное: что она объясняет.

Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладница, испортившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась — то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» — вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», — самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проникательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор.

— Все понятно? — обратилась Анна Васильевна к классу.

— Понятно!.. Понятно!.. — хором ответили дети.

— Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:

— Кошка...

— Правильно, — сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка». И тут как прорвало:

— Окно! Стол! Дом! Дорога!

— Правильно, — говорила Анна Васильевна. Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо... трактор... колодезь... скворечник...

А с задней парты, где сидел толстый Вася, топенько и настойчиво несло:

— Гвоздик... гвоздик... гвоздик...

Но вот кто-то робко произнес:

— Город...

— Город — хорошо! — одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

— Улица... Метро... Трамвай... Кинокартина...

— Довольно, — сказала Анна Васильевна. — Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Вася все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

— Зимний дуб!..

Ребята засмеялись.

— Тише! — Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

— Зимний дуб!.. — повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:

— Почему зимний? Просто дуб.

— Просто дуб — что! Зимний дуб — вот это существительное!

— Садись, Савушкин, вот что значит опаздывать. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

— Вот тебе и зимний дуб! — хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы. «Трудный мальчик», — подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался.

— Садись, — сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую. Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

— Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?

— Просто не знаю, Анна Васильевна. — Он по-взрослому развел руками. — Я за целый час выхожу.

Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

— Ты живешь в Кузьминках?

— Нет, при санатории.

— И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать и по шоссе не больше получаса.

— А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, — сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.

— Напрямик, а не напрямки, — привычно поправила Анна Васильевна. Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитрое, но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы все и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»

— Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.

— А у меня, Анна Васильевна, только мама, — улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина — «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице, худая, усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатými, руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же Анна Васильевна должна увидеться с ней.

— Придется мне сходить к твоей матери.

— Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется!

— К сожалению, мне нечем ее порадовать. Мама с утра работает?

— Нет, она во второй смене, с трех.

— Ну и прекрасно. Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.

Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес и тяжело нагруженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и беззвучья. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутьики. Но ничто не рождало здесь звука.

Кругом белым-бело. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извилам русла, то, подымаясь высоко, вылась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

— Сохатый прошел! — словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. — Только вы не бойтесь, — добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса. — Лось, он смирный.

— А ты его видел? — азартно спросила Анна Васильевна.

— Самого? Живого? — Савушкин вздохнул. — Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

— Что?

— Катышки, — застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцырь, а порой среди льда и снега проглядывала темным недобрым глазом живая вода.

— А почему он не весь замерз? — спросила Анна Васильевна.

— В нем теплые ключи бьют, вон видите струйку?

Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками.

Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.

— Тут этих ключей страсть как много! — с увлечением говорил Савушкин. — Ручей-то и под снегом живой.

Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, сразу густел и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.

— Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!

— Что вы, Анна Васильевна! Это я ветку раскачал, вот и бегают тени...

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес все вел и вел их своими сложными, путанными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чашу; стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди, там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.

Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны, в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— Так вот он, зимний дуб!

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

— Анна Васильевна, поглядите!..

Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый созревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.

— Вон как укутался! — Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулк на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона, ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

— Притворяется, — засмеялся Савушкин, — Будто мертвая. А дай солнышку пригреть, заскачет, ой-ой как!

Он продолжал водить ее по своему миру. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отошавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

— Ой, мы уже не застали маму!

Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы — четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

— Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.

«Боже мой! — вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. — Можно ли яснее признать свое бессилие?»

Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилён в чувстве, о родном языке, который так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его нелегко и непросто, как ключик от Кашеева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята: «трактор... колодезь... скворечник...» — смутно проглянула для нее первая вешка.

— Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел, ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку.

— Я провожу вас...

— Не нужно, Савушкин, я одна дойду.

Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне.

— Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.

— Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.

СОДЕРЖАНИЕ

Комаров	5
Молодожен	14
Ваганов	30
Трубка	40
Слезай, приехали	75
Четунов, сын Четунова	94
Скалистый порог	123
Ночной гость	137
Хазарский орнамент	166
Веймар и окрестности	186
Зимний дуб	197

• • •

МАССОВАЯ СЕРИЯ

© PRIZRACHNY_PUTNIK

ЮРИЙ НАГИБИН

Рассказы

Редактор *А. Волков*

Художники

А. Секина и И. Обросов

Худож. редактор *Ю. Боярский*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректор *Т. Лукьянова*

*

Сдано в набор 9/XI 1956 г.

Подписано к печати 17/1 1957 г.

А-00411 Бумага 84×108 $\frac{1}{2}$ —6,5 печ. л.

10,66 усл. печ. л. 10,76 уч.-изд. л.

Тираж 150 000 экз. Заказ № 1634.

Цена 2 р. 70 к.

Гослитиздат

Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР. Главное управление
полиграфической промышленности.

· 4-я тип. им. Евг. Соколовой.

Ленинград, Измайловский пр., 29.



СКАН, ОБРАБОТКА

2 р. 70 к.

3 1/1-1961
27

